

Российская Академия Наук
Отделение философии, социологии,
психологии и права

А. В. ДМИТРИЕВ

СОЦИОЛОГИЯ ЮМОРА

Очерки

Москва
1996

ББК 60.5

Д 53

Ответственный редактор
доктор филос. наук: *К.М.Долгов*

Д-53 ДМИТРИЕВ А.В. Социология юмора: Очерки. — М., 1996. — 214 с.

В “Очерках” известный ученый член–корр. РАН А.В.Дмитриев освещает ряд основных вопросов социологии юмора. В книге рассматриваются такие проблемы, как смех в социологической теории, его основные объекты и субъекты, социальные функции юмора и смеха. Все эти проблемы освещаются преимущественно на материалах советского и российского обществ и содержат немало спорных моментов. Книга написана живо и интересно, ориентирована на широкий круг читателей. В частности, ее могут использовать в учебных целях преподаватели общественных наук в вузах и студенты.

ISBN 5-201-01908-0 © А.В.Дмитриев, 1996

© ОФСПП, 1996

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ОЧЕРК ПЕРВЫЙ. Теория Фрейда: pro et contra.....	6
ОЧЕРК ВТОРОЙ. Социологический “смех” А.Бергсона.....	22
ОЧЕРК ТРЕТИЙ. Л.В.Карасев и другие: смех как символ.....	28
ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ. Ю.Борев и интеллигентский фольклор.....	46
ОЧЕРК ПЯТЫЙ. Еврейский юмор: функции дифференциации и сплоченности.....	55
ОЧЕРК ШЕСТОЙ. Юмор: функция конфликта.....	69
ОЧЕРК СЕДЬМОЙ. Детский анекдот: функция политической социализации... ..	78
ОЧЕРК ВОСЬМОЙ. Юмор как политическая коммуникация.....	92
ОЧЕРК ДЕВЯТЫЙ. Политическая карикатура.....	107
ОЧЕРК ДЕСЯТЫЙ. Социология и юмор.....	114
ОЧЕРК ОДИННАДЦАТЫЙ. Экономика и экономисты.....	129
ОЧЕРК ДВЕНАДЦАТЫЙ. Армейский юмор.....	143
ОЧЕРК ТРИНАДЦАТЫЙ. Юридический анекдот как реакция общества.....	158
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	174
Приложение № 1. В.Павлов. Перешеголяйте насмешливость.....	175
Приложение № 2. Л.Муниз. Общественная ценность смеха.....	178
Приложение № 3. А.Бергсон. Комическое характера.....	180
Приложение № 4. Л.Карасев. Антитеза смеха.....	186
Приложение № 5. Законы еврейской физики.....	191
Приложение № 6. У.Лефски. 12 способов доказательства некомпетентности работника.....	193
Приложение № 7. А.Бирс. Из “Словаря Сатаны”.....	197
Приложение № 8. С.Норткот Паркинсон. Налоги в старое и новое время.....	206
Источники карикатур в тексте.....	213

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сразу же разочарую тех читателей, которые надеются найти здесь исключительно юмористические рассказы и карикатуры, и одновременно тех, кто ожидает прочесть философское эссе. Последним рекомендую серию статей Л.Карасева, опубликованных за последние два года в журнале “Человек”. Кому же предназначена эта книга? В первую очередь тем, кто убежден, что юмор и вызываемый им смех требует все же не общепринятого философского и эстетического, но социологического объяснения. Именно социологи могут проанализировать общественную значимость юмора и смеха, их функциональность, и прийти к выводу о необходимости их существования в каждой группе и почти в любой ситуации.

К такому выводу я склонялся постепенно, пополняя домашнюю библиотеку разного рода юмористическими книгами и альбомами карикатур. Объем коллекции стал достаточным, что дало возможность сесть, наконец, за рабочий стол и описать свои впечатления, используя работы искусствоведов, литературных критиков и отечественных философов.

Надеюсь на снисхождение моих коллег — в основном представителей эстетики, — поскольку употребляю слово “юмор” в самом широком значении, т.е. рассматриваю его как синоним “комического”. Причем акцент, разумеется, делается на субъективной стороне явления, т.е. на самом **восприятии** комического. В этом смысле юмор содержит в себе не только расслабляющее, терпимое начало, но и сатиру, которой свойственна критическая тенденция к объекту осмеяния. Иначе, юмор в большинстве случаев автор рассматривает в качестве родового понятия. Поэтому представляется логичным включить в него сатиру, иронию, гротеск, карикатуру, пародию, насмешку. И если критик по аналогии заметит, что автор не только делит население на черных и белых, мужчин и женщин, рабочих и служащих, обрезанных и необрезанных, но и объединяет их в одно целое — не страшно, не то бывало в работах тех же искусствоведов, разумеется, штатских.

Предложенная читателю книга содержит массу шуток, рассказов и карикатур, часть из которых уже публиковалась. Это поможет не столько вызвать интерес к избранной теме, сколько послужит комментарием и своеобразным мостиком к анализу уже знакомого читателю текста. Так в предисловии уместны строки Е.Евтушенко:

Юмор прятали в камеры,
но черта с два удалось.

Решетки и стены каменные

он проходил насквозь.

Привык он ко взглядам сумрачным,

но это ему не вредит,

и сам на себя с юмором

юмор порой глядит.

Он вечен. Он ловок и юрок,

пройдет через все, через всех.

Итак, да славится юмор!

И все же можно воздержаться от чисто апологетической оценки феномена юмора, поскольку он традиционно включает в себя “грязные” частушки, оскорбительные шутки, но все же представляет собой часть народной культуры и, следовательно, демократичен по своей природе. Именно по этой причине я предпочитаю этот вид юмора и так же, как мои друзья, при случае повторяю их. Особенно мне нравится политический юмор, очищающий общество и защищающий часть населения от авторитарных поползновений властей. В каком-то смысле он “пятая ветвь власти”, самая неагрессивная из имеющихся.

Начиная писать эту книгу, я собирался ограничиться исключительно социальным аспектом. О философии и искусстве юмора и смеха написано достаточно, и поначалу мне казалось, что выдержать эту направленность будет достаточно легко. Ведь все отечественные исследователи лишь косвенно касались их чисто общественных функций. Однако вскоре выяснилось, что “классического” социологического объяснения не получилось ввиду чрезвычайной сложности явления. Но все же можно попробовать его понять. И читатель имеет дело именно с такой попыткой.

Но я не могу убеждать читателя в правильности подхода без краткого изложения очерков.

В двух первых главах я начинаю с критики описи классического наследства, оставленного нам З.Фрейдом и А.Бергсоном, затем в третьей и четвертой главах излагаю взгляды современных, в основном, российских авторов. В последующих главах я пытаюсь определить некоторые социологические функции юмора; в частности сплоченности и дифференциации (5 очерк), конфликта и согласия (в очерке 6), самоидентификации (7 и 8 очерки). Эти главы создают предпосылки для того, чтобы понять функционирование юмора в различных сферах общества. В качестве примеров избраны политическая организация и ее лидеры (9, 10, 11 очерки), армия (12 очерк), а также правовая и юридическая сфера (13 очерк).

Надо полагать, что после всего сказанного я смогу объяснить причины появления неких **приложений**, содержащих более или менее целостные иллюстрации к тем или иным главам. Они кажутся необходимым не только по чисто техническим причинам. Материалы, подготовленные другими авторами, как бы дополняют основную цель данной книги — обратить внимание читателя на амбивалентность любых общественных явлений и, разумеется, юмора в их ряду. У Ф.Ницше есть любопытное высказывание по этому поводу:

“У подавляющего большинства людей интеллект представляет громоздкую, подозрительную, скрипучую машину, завести которую — одна волокита: они называют это “серьезно относиться к делу”, когда намереваются поработать и хорошенько подумать этой машиной — о, сколь тягостно должно быть им это шевеление мозгами! Славная бестия, человек, теряет, по-видимому, хорошее настроение всякий раз, когда хорошо думает: он делается “серьезным”! И “где смех и веселье, там мысли нет дела” — так звучит предрассудок этой серьезной бестии против всякой “веселой науки”. — Ну что ж! Покажем, что это предрассудок!”

* *

*

Приношу искреннюю благодарность коллегам, помогавшим мне советом в подготовке рукописи и особенно Н.Л.Денисовой. Кроме того, благодарю за согласие быть соавтором очерка 9 (“Детский политический анекдот”) моих коллег из Екатеринбургa Руденко В.Н., Мошкина С.В., осуществивших среди детей города чрезвычайно интересное исследование.

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

ТЕОРИЯ ФРЕЙДА: PRO ET CONTRA

Фрейд как объект юмора

Влияние Фрейда на изучение юмора и смеха кажется бесспорным. Более того, его психоанализ, по мнению многих критиков, оказал определяющее воздействие на творчество писателей так называемого “серьезного” жанра (С.Цвейг, Р.Роллан, Т.Манн), так и “юмористически–серьезных” (В.Набоков, М.Зощенко). Разумеется, речь идет о проекции всего учения, а не о специализированной работе, посвященной остроумию. Об этом произведении несколько позже, поскольку интерпретации общей теории Фрейда настолько различны, что требуются кое–какие пояснения. Прежде всего вспомним, что немаловажно: великий психоаналитик прекрасно знал произведения таких знаменитостей, как Шекспир, Рабле, Свифт, Марк Твен, Достоевский. Более того, некоторые исследователи (В.Соловьев например) считают самого Фрейда великим писателем^[1].

Как бы то ни было многие ученые и литераторы, не придавая самодовлеющего значения фрейдовским мотивам в трактовке характеров, высоко ценят многие элементы его учения, особенно те, которые связаны с вечной борьбой Эроса и Танатоса, олицетворяющих влечение к жизни и влечение к смерти.

Главный же упрек, бросаемый “венскому мудрецу”, состоял и поныне состоит в рационализации бессознательного.

Сегодня у меня досада —
В саду мелькнула тень

де Сада,

А оказалась — не де Сад,

А Сталин, статен и усат.

Сегодня у меня обида —

Всю ночь мешало спать

Либи́до,

А солнце алое взошло —

Либи́до встало и ушло.

(В.Красько)

Постоянно осмеивал Фрейда Михаил Зощенко, причем так упорно, что заинтересовал этим многих серьезных исследователей своего таланта. Томас П.Ходж, например, в специальной работе (“Элементы фрейдизма в “Перед восходом солнца” М.Зощенко”) доказывает это и иногда довольно успешно. Так, изучая детство и юношеские годы Михаила Зощенко, он пришел к выводу, что последний, заставляя других плакать от смеха, сам с трудом сопротивлялся неумолимой хандре. Его борьба с меланхолией достигла пика кризиса в 30–е годы, что привело к острому интересу к вопросам психического здоровья, особенно к психоанализу. Т.П.Ходж склоняется к тому, что влияние Фрейда было чрезвычайно сильным и для того, чтобы “Перед восходом солнца” было позволено опубликовать. Зощенко постоянно подчеркивал свое предпочтение идеям Павлова, а не Фрейда^[2].

Более реалистическую оценку проблеме дает Бенедикт Сарнов, который подчеркивал профессиональную осведомленность Зощенко в специальных вопросах психиатрии и физиологии высшей нервной деятельности. Полемизировал он с Верой фон Вирен–Гарчинской и Б.Филиповым, утверждавшими, что несмотря на свою иронию, Зощенко до конца верит Фрейду, хотя вынужден это скрывать перед страхом репрессий. “Это, разумеется, полная чепуха, — пишет Б.Сарнов. — Никаких гонений на Фрейда в 20–е годы еще не было... Нет, Зощенко тут, как и везде, не скрывает своего истинного отношения к предмету. Напротив, он его обнажает”^[3]. В качестве доказательства он приводит два рассказа М.Зощенко, прямо высмеивающих несколько положений Фрейда.

Рассмотрим в этой связи сам текст этих рассказов. Первый из них “Медицинский случай” (1928), где описано лечение путем восстановления в памяти того, что могло травмировать психику, и затем — повторный шок.

Портрет врача (в терминологии М.Зощенко “лекарь”, “медик”) таков:

“...простой человек, без среднего образования, может в душе сукин сын и жулик...”, которого “не так интересуется... трешка, а... забавней видеть подобные результаты”.

Портрет родителей.

“А родители ее были люди, конечно, не передовые. Не в авангарде революции. Это были небогатые родители, кустари. Они инурки к сапогам производили. И девчонка тоже чего-то там им вертела. Какое-то колесо. А тут вертеть не может и речь не имеет”.

Портрет пациентки и первичный шок.

“Такая небольшая девчонка. Тринадцати лет. Ее ребяташки испугали. Она была вышедши во двор по своим личным делам. А ребяташки хотели подиутить над ней, поугатать. И бросили в нее дохлой кошкой. И у нее через это дар речи прекратился. То есть она не могла слова произносить после такого испуга. Чего-то бурчит, а полное слово произносить не берется. И кушать не просит”.

Диагноз врача.

“— Вот чего. У вашей малютки прекратился дар речи через сильный испуг. И я, говорит, так мерекую. Ну те, я ее сейчас обратно испугаю. Может она, сволочь такая, снова у меня заговорит. Человеческий, — говорит, — организм достоин всеобщего удивления. Врачи, — говорит, — и разная профессура сама, — говорит, — затрудняется узнать, как и чего и какие факты происходят в человеческом теле. И я, — говорит, — сам с ними то есть совершенно согласен и, — говорит, — затрудняюсь вам сказать, где у кого печенька лежит и где селезенка. У одного, говорит, тут, а у другого, может, не тут. У одного, — говорит, — кишки болят, а у другого, может, дар речи прекратился, хотя, говорит, язык болтается правильно. А только, — говорит, — надо на все находить свою причину и ее выбивать поленом. И в этом, — говорит, — есть моя сила и учение. Я, — говорит, — дознаюсь до причины и ее искореняю.”

Лечение путем повторного шока.

“Тогда вынимает он из-под шкапа вафельное полотенце, усаживает девчонку, куда надо, и выходит.”

Через пару минут он тихонько подходит до нее и как ахнет ее по загривку.

Девчонка как с перепугу завизжит, как завьется.

И, знаете, заговорила.

Говорит и говорит, прямо удержу нету. И домой просится. И за свою мамку цепляется. Хотя взгляд у ней стал еще более беспокойный и такой вроде безумный.”

Конечные результаты лечения.

“А девчонка действительно заговорила. Действительно, верно, она немного в уме свихнулась, немного она такая стала придурковатая, но говорит, как пишет”^[4].

Ерничество М.Зощенко насчет психотерапии этим рассказом не ограничилось. В 1933 году он опубликовал “Врачевание и психика”, где высмеял метод абреакции (лечение методом исповедания). Схематично это выглядит следующим образом:

Портрет врача. Владеет методом абреакции, считая его наиболее действенным. Культурен и профессионален.

“— Пилюль я вам не дам — это только вред приносит. Я держусь новейшего метода лечения. Я нахожу причину и с ней борюсь. Вот я вижу — у вас нервная система расшатавши. Я задаю вопрос — не было ли у вас какого-нибудь потрясения? Припомните...

Ну, ну, рассказывайте, ...это вас облегчит. Это значит, вы десять лет мучились, и по теории относительности вы обязаны это мучение рассказать, и тогда вам снова будет легко и будет хотеться спать.”

Портрет пациента. “Желтоватый, худощавый в тужурке”, раздраженный и нетерпеливый. С трудом вспоминает случай, который может оказаться причиной заболевания — бессонницы.

Абреакция.

“— Возвращаюсь я тогда с фронта. Ну, естественно, — гражданская война. А я дома полгода не был. Ну, захожу в квартиру... Да. Поднимаюсь по лестнице и чувствую — у меня сердце в груди замирает. У меня тогда сердце маленько пошаливало — я был два раза отравлен газами в царскую войну, и с тех пор оно у меня пошаливало.

Вот поднимаюсь по лестнице. Одет, конечно, весьма небрежно. Шинелька. Штанцы. Вши, извиняюсь, ползают.

И в таком виде иду к супруге, которую не видел полгода.

Безобразие.

Дохожу до площадки.

Думаю — некрасиво в таком виде показаться. Морда неинтересная. Передних зубов нету. Передние зубы мне зеленая банда выбила. Я тогда перед этим в плен попал. Ну, сначала хотели меня на костре спалить, а после дали по зубам и велели уходить.

Так вот, поднимаюсь по лестнице в таком неважном виде и чувствую — ноги не идут. Корпус с мыслями стремится, а ноги не могут. Ну, естественно, — только что тиф перенес, еще хвораю.

Еле-еле вхожу в квартиру. И вижу: стол стоит. На столе выпивка и селедка. И сидит за столом мой племянник Мишка и своей граблей держит мою супругу за шею.

Нет, это меня не взволновало. Нет, я думаю: это молодая женщина — чего бы ее не держать за шею. Это чувство меня не потрясает.

Вот они меня увидели. Мишка берет бутылку водки и быстро ставит ее под стол. А супруга говорит:

— Ах, здравствуйте.

Меня это тоже не волнует, и я тоже хочу сказать “здравствуйте”. Но отвечаю им “те-те”... Я в то время маленько заикался и не все слова произносил после контузии. Я был контужен тяжелым снарядом и, естественно, не все слова мог произносить.

Я гляжу на Мишку и вижу — на нем мой френч сидит. Нет, я никогда не имел в себе мещанства! Нет, я не жалею сукно или материю. Но меня коробит такое отношение. У меня вспыхивает горе, и меня разрывает потрясение.

Мишка говорит:

— Ваш френч я надел все равно как для маскарада. Для смеху.

Я говорю:

— Сволочь, сымай френч!

Мишка говорит:

— Как я при даме сыму френч?

Я говорю:

— Хотя бы шесть дам тут сидело, сымай, сволочь, френч.

Мишка берет бутылку и вдруг ударяет меня по башке.”

Реальная причина заболевания (бессонницы).

“Сестра приехала из деревни и заселилась в моей комнате вместе со своими детьми... Я хочу спать и чувствую: не могу заснуть — одеяло тлеет. А рядом на мандолине играют. А у меня ноги горят...”

Существует точка зрения, согласно которой Зощенко выступал против классического, ортодоксального фрейдизма, но охотно пользовался его методами, но выводы, к которым он приходит к концу своей жизни, не только на словах, но и на деле отличаются от выводов Фрейда^[5]. Есть такое мнение, что многих современников Фрейда раздражал не сам психоанализ, а мода на него. Соотечественник “венского мудреца” Карл Краус как-то

заметил, что “психоанализ сам по себе есть род психического заболевания, которое он же должен вылечить”. Говорят, что фраза нравилась самому Фрейду^[6].

Из других знаменитых критиков Фрейда следует все же упомянуть Я.Гашека и более знаменитого В.Набокова. Так герой “Похождений бравого солдата Швейка” поведал о случае с одним из своих знакомых,

“...который тоже как-то раз потянул за рукоятку аварийного тормоза и с перепугу лишился языка. Дар речи вернулся к нему только через две недели, когда он пришел в Гостивар в гости к огороднику Ванеку, подрался там и об него измочалили арапник”^[7].

В.Набоков был более последователен и глубок в осмеивании психоанализа, хотя некоторые наблюдатели утверждают, что воспоминания Г.Г. о своей детской любви к Аннабеле (“Лолита”) не что иное, как чистый фрейдизм^[8]. Но, по-видимому, здесь, как в случае с М.Зощенко, следует привести высказывание героя “Лолиты”, сделанное им после неудачной экспедиции на Остров Виктории.

“Окончательным выздоровлением я обязан открытию, сделанному мной во время лечения в очень дорогом санатории. Я открыл неисчерпаемый источник здоровой потехи в том, чтобы разыгрывать психиатров, хитро поддакивая им, никогда не давая им заметить, что знаешь все их профессиональные штуки, придумывая им в угоду вещицы сны в чистоклассическом стиле (которые заставляли их самих, вымогателей снов, видеть сны и по ночам просыпаться с криком), дразня их подложными воспоминаниями о будто бы подсмотренных “исконных сценах” родительского сожительства и не позволяя им даже отдаленно догадываться о действительной беде их пациента. Подкупив сестру, я получил доступ к архивам лечебницы и там нашел, не без смеха, фишки, обзывавшие меня “потенциальным гомосексуалистом” и “абсолютным импотентом”. Эта забава мне так нравилась, и действие ее на меня было столь благотворным, что я остался лишний месяц после выздоровления (причем чудно спал и ел с аппетитом школьницы). А после этого я еще прикинул недельку единственно ради того, чтобы иметь удовольствие потягаться с могучим новым профессором из “перемещенных лиц”, или Ди-Пи (от “Дементии Прекокс”), очень знаменитым, который славился тем, что умел заставить больного поверить, что тот был свидетелем собственного зачатия”^[9].

Фрейд — исследователь смешного

Критические стрелы, пущенные в Фрейда, свидетельствуют скорее не о слабости его теории, связанной с рационализацией бессознательного, а о несомненной ее живучести. В этой связи представляется настоящей попыткой рассмотреть взгляды основоположника психоанализа на феномен самого смеха. В какой-то степени это, по-видимому, поможет понять не только отношение Фрейда к смешному, но и объяснить иронические и сатирические нападки его противников.

В уже упомянутой выше работе “Остроумие и его отношение к бессознательному” (1905) Фрейд, изучив большинство доступных ему тогда работ о смехе, дает психологическую оценку остроумия. В заключение довольно пространных рассуждений он пришел к следующему выводу.

“Удовольствие от остроты вытекает для нас из экономии затраты энергии на упразднение задержки, удовольствие от комизма — из экономии затраты энергии на работу представления, а удовольствие от юмора — из экономии аффективной затраты

энергии. Во всех трех видах работы нашей душевной деятельности удовольствие вытекает из экономии, все три вида аналогичны в том, что представляют собой методы получения удовольствия из душевной деятельности, удовольствия, которое собственно было потеряно лишь вследствие развития этой деятельности. Ибо эйфория, которую мы стремимся вызвать этими путями, является не чем иным, как настроением духа в тот жизненный период, когда мы вообще справлялись с нашей психической работой с помощью незначительной затраты энергии, настроением духа в нашем детстве, когда мы не знали комизма, не были способны создавать остроты, не нуждались в юморе, чтобы чувствовать себя счастливыми в жизни”^[10].

Основные теоретические положения относительно отношения остроумия к сновидению и бессознательному были изложены в VI главе упомянутой книги. Необходимость ее изложения объясняется не чем иным, как направленностью критики именно на этот раздел.

“— Целый ряд соображений Фрейда относительно остроумия сомнительны. Невозможно тем не менее подвергнуть критике некоторые из них, не втянувшись при этом в полемику с основами фрейдизма, слабость которого заключается зачастую в том, что на основе отдельных верных наблюдений он строит далеко идущие обобщения (например, тезис о присущем якобы всем агрессивном инстинкте)”^[11].

Фрейд всегда страдал от упрощенной оценки его работ. В данном случае он терпеливо разъясняет, что при создании остроты ход мыслей погружается на один момент в бессознательную сферу и затем внезапно выплывает из бессознательного в виде остроты. Она занимает особое положение и в ассоциативном отношении. Память часто не располагает ими тогда, когда мы хотим их вызвать, но зато иной раз они возникают невольно, что также свидетельствует о происхождении острот из бессознательного.

Считая остроумие одним из подвидов комизма, Фрейд отличает его от других прежде всего психологической локализацией (“острота — это, так сказать, содействие, оказываемое комизму, из области бессознательного”).

Освобождение мучительных аффектов, по Фрейду, является сильнейшим препятствием для комического впечатления. Так как бесцельное действие наносит ущерб, глупость приводит к несчастью, разочарование причиняет боль, то благодаря этому исключается возможность комического аффекта, по крайней мере для того, кто не может отделаться от такого неудовольствия, кто сам испытывает его, кого оно затрагивает в то время, как человек непричастный свидетельствует своим поведением о том, что в ситуации настоящего случая имеется все необходимое для комического эффекта. Юмор же является средством получения удовольствия несмотря на препятствующие ему мучительные аффекты. Он подавляет это развитие аффекта, занимает его место. Условие для его возникновения дано тогда, когда имеется ситуация, в которой мы сообразно с нашими привычками должны были бы пережить мучительный аффект, и когда мы поддаемся влиянию мотивов, говорящих за подавление этого аффекта. Следовательно, человек, которому причинен ущерб, может получить юмористическое удовольствие в то время, как человек непричастный смеется от комического удовольствия. Удовольствие от юмора возникает в этих случаях — мы не можем сказать иначе — ценою этого неосуществившегося развития аффекта; оно вытекает из экономии аффективной затраты.

Юмор Фрейд считает самым умеренным из всех видов комизма; его процесс осуществляется уже при наличии одного только человека; участие другого не прибавляет к нему ничего нового. Можно наслаждаться возникшим юмористическим удовольствием, не испытывая потребности рассказать о нем другому человеку. Не легко сказать, что происходит в этом

одном человеке при возникновении юмористического удовольствия; но можно создать себе определенное мнение об этом, если исследовать те случаи сообщенного или прочувствованного юмора, в которых я благодаря пониманию юмористического человека получаю такое же удовольствие, что и он. Самый грубый случай юмора, так называемый “юмор висельников” или “черный юмор”, прояснит это. Преступник, которого ведут в понедельник на казнь, говорит: “Ну и неделька начинается”.

Экономия сострадания является одним из самых частых источников юмористического удовольствия. Юмор Марка Твена содержит обычно этот механизм. Когда Твен рассказывает нам случай из жизни своего брата, как тот, будучи служащим в большом предприятии по постройке железных дорог, взлетел на воздух вследствие преждевременного взрыва мины и упал опять на землю далеко от места своей работы, то в нас неизбежно пробуждается чувство сострадания к несчастному: мы хотели бы спросить, не получил ли он ранений во время несчастного случая, но продолжение рассказа гласит, что у брата был удержан полудневный заработок “за то, что он отлучился со службы”, и это отвлекает нас целиком от сострадания, делает нас почти такими же безжалостными, как и его предприниматель.

Разделяя понятия “остроумие”, “комизм”, “юмор”, автор все же находит большое сходство в их интерпретации. В частности, основным критерием выделения этих понятий служит *принцип затраты и освобождения энергии*.

Но юмор стоит ближе к комизму, чем к остроумию. Он имеет общую с комизмом психическую локализацию в предсознательном в то время как острота согласно фрейдовскому предположению является компромиссом между бессознательными и предсознательными процессами.

Такое неопределенное различие между остроумием, юмором и комизмом послужило причиной неослабевающей до сих пор критики. Кроме того, интерпретация смеха как освобождающего и доставляющего удовольствие механизма от всех трех понятий, в качестве последствия в основном остроты, несколько ограничена возможность полного анализа. Несколько ослабила позицию и другая особенность работы, состоящая в поиске происхождения шуток на основе агрессии и сексуального влечения.

Макс Истмен (“Острота и бессмыслица: ошибка Фрейда”), полемизируя с этим аспектом фрейдовского учения, обратил внимание на существование невинных, бессмысленных шуток. Он заметил также, что юмор, помимо сексуальной и агрессивных причин, может являться простым желанием человека уйти от неприятной ему реальности^[21].

Другие авторы не столько опровергали, а скорее дополняли основные фрейдовские положения. Так Д.Флагел в словаре по социальной психологии (статья “Юмор и смех”) сместил акцент на значимость культурных традиций и положение социальных групп. Освобождение энергии, связанное с юмором и смехом, связано с разрушением социальных запретов. Примерно такую же точку зрения высказал и М.Чойси (“Страх смеха”), считая смех защитной реакцией против страха запрета. Человек, по его мнению, при помощи смеха преодолевает страх перед отцом, матерью, властями, сексуальностью, агрессией и так далее. Смех, таким образом, приравнивается по своему социальному значению к искусству, неврозам, алкоголизму. Е.Крис (“Развитие Эго и комизм”) нашел, что комизм не просто освобождение энергии, но также возвращение к детскому опыту.

Представляется удивительным, но Фрейд в своей работе все эти аспекты психической деятельности при юморе всё же освещал, впрочем, не столь подробно, как упомянутые выше авторы.

Так упреки Истмена по поводу острот–бессмыслиц лишены смысла, поскольку Фрейд и не ставил перед собой задачу их анализа.

Более того, у него есть прямые высказывания по этому поводу.

“Краткого дополнительного изложения заслуживают те остроты–бессмыслицы, которые не нашли себе полного изложения в тексте.

При том значении, которое наше изложение признает за моментом “смысла в бессмыслице” может появиться искушение рассматривать каждую остроту, как остроту–бессмыслицу. Но это — необязательно, так как только игра мыслями ведет неизбежно к бессмыслице, другой источник удовольствия от остроумия, игра словами, производит только иногда такое впечатление и не вызывает закономерно связанной с ним критики.

...К остротам–бессмыслицам примыкает целый ряд продукций, построенных по типу острот и не имеющих подходящего названия, но могущих претендовать на наименование “кажущегося остроумия, но могущих претендовать на наименование “кажущегося остроумным слабоумия”. Их существует бесчисленное множество; я хочу привести только два примера. Некто, сидя за столом, куда была подана рыба, хватая дважды обеими руками майонез и затем проводит ими по волосам. На удивленный взгляд соседа он, как бы замечая свою ошибку, извиняется: Pardon, я думал, что это шпинат.

Или: Жизнь, это — цепной мост, — говорит один. — Почему? — спрашивает другой. — А разве я знаю? — отвечает первый.

Эти крайние примеры оказывают свое действие, потому что они будят ожидание остроты, так что каждый невольно старается найти скрытый за бессмыслицей смысл. Но смысла нет никакого. Это — действительно бессмыслицы. Этот мираж создает на одно мгновение возможность освободить удовольствие от бессмыслицы. Эти остроты не совсем лишены тенденции; это — “провокации”, они доставляют рассказчику удовольствие, вводя в заблуждение и огорчая слушателя. Последний утешается возможностью стать самому рассказчиком”^[13].

Итак, для Фрейда психический акт остроты, юмора и комизма — разные переживания. Механизм остроты, по его мнению, во многом совпадает с механизмом сновидений (изображение при помощи противоположности, не прямое изображение, замена мысли намеком, деталью, символикой и т.д.). Сами остроты могут не иметь никакой цели, в ином случае — тенденциозность. Только тенденциозная острота подвержена опасности натолкнуться на людей, которые не хотят ее выслушать.

Тенденции в развитии остроумия, по Фрейду, легко обозреть. Там, где острота не безобидна, она является либо враждебной, обслуживающей агрессивность, сатиру, оборону, либо скабрёзной, которая служит для обнажения. При этом сальность — это как бы обнажение лица противоположного пола, на которое она направлена. Первоначальным мотивом сальности является удовольствие, испытываемое от рассматривания сексуального в обнаженном виде. Либи́до рассматривания и ошупывания существует у каждого активно и пассивно, в мужском и женском виде.

Для тенденциозной остроты нужны, в общем–то, три лица: кроме того лица, которое острит, нужно второе лицо — объект враждебной или сексуальной агрессивности, и третье лицо, на котором достигается цель остроты, т.е. извлечение удовольствия.

Замечая, что сальный разговор чрезвычайно излюблен простым народом, Фрейд относит само появление остроумия лишь в высокообразованном обществе.

Человек, живя в таком обществе, не может дать освобождения агрессивности при помощи действия, поэтому—то он создает новую форму остроумия, которое имеет целью завербовать это третье лицо против врага. Делая врага мелким, низким, смешным, человек создает себе окольный путь наслаждения, которое и подтверждается смехом третьего лица.

“Острота позволяет нам использовать в нашем враге все то смешное, которого мы не смеем отметить вслух или сознательно; таким образом, острота обходит ограничения и открывает ставшие недоступными источники удовольствия. Далее, она подкупает слушателя благодаря тому, что она доставляет ему удовольствие, не производя строжайшего испытания нашей пристрастности, как это мы сами делаем иной раз, подкупленные безобидной остротой, переоценивая содержание остроумно выраженного предложения. В немецком языке существует очень меткое выражение: “Насмешники привлекают на свою сторону”...

Если... препятствие для агрессивности, обойденное с помощью остроты, было внутренним — эстетический протест против ругани, — то в других случаях оно может быть чисто внешнего происхождения. Таков случай, когда светлейший, которому бросилось в глаза сходство его собственной персоны с другим человеком, спрашивает: “Служила ли его мать когда-либо в резиденции?” и находчивый ответ на этот вопрос гласит: “Мать не служила, зато мой отец — да”. Спрошенный хотел бы, конечно, осадить наглеца, который осмелился опозорить таким намеком память любимой матери, но этот наглец — светлейший князь, которого он не смеет ни осадить, ни оскорбить, если он не хочет искупить этой мести ценою всей своей жизни. Это значило бы, таким образом, молча задушить в себе обиду, но к счастью, острота указывает путь отмщения без риска, принимая этот намек с помощью технического приема унификации и адресуя его нападающему светлейшему князю. Впечатление остроты настолько определяется здесь тенденцией, что мы при наличии остроумного ответа склонны забыть, что вопрос нападающего сам остроумен, благодаря содержащемуся в нем намеку.

Внешние обстоятельства так часто являются препятствием для ругани или оскорбительного ответа, что тенденциозная острота особенно охотно употребляется для осуществления возможности агрессивности или критики лиц вышестоящих или претендующих на авторитет. Острота представляет собой протест против такого авторитета, освобождение от его гнета. В этом же факте заключается ведь и вся прелесть карикатуры, по поводу которой мы смеемся даже тогда, когда она мало удачна, потому только, что мы ставим ей в заслугу протест против авторитета”^[14].

Фрейд как юморист

Приведенные выше примеры, использованные Фрейдом, не единичны. В тексте своей работы аргументы в защиту того или иного положения довольно пространны, они касаются в основном приемов шуток и острот. Но описание и последующая классификация требуют соответствующих примеров, которые и приводит Фрейд с кажущимся читателю удовольствием.

При шутке на первом плане стоит удовлетворение от осуществления, например, унификации и созвучия двух слов.

Профессор Кёстнер, преподававший физику в Геттингене в XVIII веке, на вопрос о возрасте, заданный им студенту по фамилии Война, получив ответ, что студенту 30 лет, воскликнул: “Ах, в таком случае я имею честь видеть тридцатилетнюю войну”.

Примером, выясняющим разницу между шуткой и собственно остротой, является высказывание, которым член министерства в Австрии отвечал на вопрос о солидарности кабинета:

*“Как мы можем **вносить** одинаковые предложения, когда мы не **выносим** друг друга”.*

Противоположность модификации (“вносить — выносить”) соответствует разногласию, которое утверждает мысль и служит ему изображением. Острота, по Фрейду, может обслуживать обнажающую, враждебную, циничную, скептическую тенденцию. Фрейд одновременно исходит из того, что важно проникнуть в знание субъективных условий в душе того, кто эту остроту создал, имея в виду остроту Гейне:

“...Я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом, и он обошелся со мной, как с совсем равным, совсем фамиллионьярно”.

По мнению Фрейда, Генрих Гейне в молодости жестоко страдал от того, что с ним обращались как с бедным родственником. Именно на почве субъективной ущемленности возникла затем острота “фамиллионьярно”. Вообще в остроумии других знаменитых людей проникнуть довольно трудно. К тому же их субъективные условия работы остроумия часто недалеко уходят от условий невротического заболевания.

Более ясным случаем являются еврейские остроты, которые сплошь и рядом созданы самими евреями, в то время как истории о евреях другого происхождения почти никогда не возвышаются над уровнем комической шутки или грубого издевательства. Условие самопричастности можно выяснить здесь так же, как и при остроте Гейне “фамиллионьярно”, и значение его заключается в том, что непосредственная критика или агрессивность затруднена для человека и возможна только окольным путем^[15].

Благодаря Фрейду многие шутки, остроты и анекдоты, которые он приводил в книге, дошли до наших дней. Ему самому также приписывалось создание многих анекдотов. Доказать их подлинное авторство, как и авторство многих других, представляется невозможным. Большинство циркулирующих шуток и острот, особенно на злобу дня, анонимно. Возможно, что “первоначальный” остряк является раздвоенной личностью, склонной к меланхолии. Но доказательств для выявления какой-либо закономерности здесь недостаточно.

Фрейду, по мнению Л.А.Барского, принадлежат следующие анекдоты, почерпнутые из газеты одесских юмористов (“Ах, Одесса”).

Бедный еврей занял у богача крупную сумму денег.

В тот же вечер богач встречает бедняка в фешенебельном ресторане, с жадностью поглощающего семгу с майонезом. Богач делает бедняку замечание — ссуда предназначалась для иных целей. “Вы — странный человек, — отвечает бедняк. — Вчера у меня не было денег, чтобы кушать семгу с майонезом. Сегодня у меня нет на это морального права, с вашей точки зрения. Когда же, спрашивается, я могу кушать семгу с майонезом?”.

Сват привел жениха в дом невесты. Пока в столовой никого нет, сват приоткрывает ящик

буфета и показывает жениху столовое серебро.

— Вы видите, куда я вас привел? Это приличные люди, у них состояние!

— А если они одолжили это серебро на несколько дней?

— Не говорите глупости. Им никто не поверит и на копейку.

Сват привел жениха в дом невесты. Невеста хромает, она уродлива, горбата. Жених шепотом упрекает свата, что невеста могла бы быть попривлекательней. Сват утешает его:

— Вы можете говорить громко, она все равно ничего не слышит!^[16]

Оценивая эти иллюстрации к рассуждениям Фрейда, можно предположить, что к началу XX века они удовлетворяли в сублимированной форме свойственные каждому тогдашнему человеку половые или агрессивные влечения. Что касается нашего современника, то несомненно одно: ему требуется более сильное лекарство.

ОЧЕРК ВТОРОЙ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ “СМЕХ”

А.БЕРГСОНА

Досадно, что наибольшее количество аналитических работ в области юмора принадлежит только перу философа, психолога, эстета, поскольку в соответствии с требованиями своей специальности они либо умалчивают о социологической основе юмора или смеха, либо вообще отрицают таковую. Наиболее заметным исключением представляется известная работа лауреата Нобелевской премии А.Бергсона (1859–1941) “Смех”. Впрочем, было бы ошибкой рассматривать упомянутую работу в качестве “чисто” социологической: она все же носит характер преимущественно эстетического исследования, а ее основные понятия также наполнены искусствоведческим содержанием.

Так А.Бергсон постоянно обращается к персонажам Мольера, Расина, Бомарше, Рабле, Сервантеса, наблюдает различные жизненные ситуации, полные комизма. Но при всем этом он, в отличие от других исследователей, которые попросту очерчивают круг и показывают, какие комические эффекты входят в него, попытался сделать нечто иное.

“Я искал в комедии, фарсе, искусстве клоуна и т.п. приемы создания комического. Я заметил, что они в значительной степени зависят от вариаций на более общую тему. И я, с целью упрощения, сосредоточил внимание на общей теме...”

*“Скажу еще, что одновременно с тем, что я поставил целью определить условия возникновения смешного, я попытался узнать, **к чему стремится общество** (подчеркнутой мной — А.Д.), когда оно смеется... Я не понимаю, например, почему “дисгармония” как таковая способна вызвать у части зрителей специфическую реакцию — смех, в то время как другие свойства, качества или несуразности оставляют мускулы лица зрителя неподвижными. Остается, стало быть, определить, какова особая причина дисгармонии, дающей комический эффект; и мы сможем реально найти ее, если только сумеем с ее помощью объяснить, почему в нужных случаях общество чувствует необходимость проявить себя. Надо, чтобы в причине, вызывающей комический эффект, было бы что-то, так или иначе посягающее (и посягающее специфически) на жизнь общества, поскольку общество отвечает на это жестом, который имеет вид оборонительной реакции, жестом, вызывающим легкий испуг. Я хотел, чтобы все это не оставалось без внимания”^[17].*

Таким образом, Бергсон смех и юмор рассматривает в наиболее широком и социальном аспектах. Согласно его воззрениям они могут быть поняты только в рамках самого общества (“и не существует комического вне собственно человеческого”). Но этот общий подход должен быть детализирован. “Чтобы понять смех, его необходимо перенести в его естественную среду, каковой является общество; в особенности же необходимо установить полезную функцию смеха, каковая является функцией общественной... Смех должен отвечать известным требованиям совместной жизни людей. Смех должен иметь общественное значение^[18].

Аргументация в данном случае в том, что смешное не может оценить тот, кто чувствует себя одиноким. Смех нуждается в отклике, однако его звук уходит в бесконечность, он всегда остается замкнутым. Смех всегда принадлежит группе. В качестве примера Бергсон приводит характер обычного общения сидящих в вагоне или за общим столом. Путешественники рассказывают друг другу комичные истории и смеются от всей души. Человек, принадлежащий к этой компании, присоединился бы к смеху, но не принадлежащий к ней не имел бы никакого желания смеяться.

“Один человек, которого спросили, почему он не плакал, слушая проповедь, на которой все проливали слезы, ответил: “Я не этого прихода”. Взгляд этого человека на слезы еще более применим к смеху”^[19].

Смех, каким бы искренним не был, по Бергсону, — “почти заговор” с другими смеющимися лицами, действительными или мнимыми. Ведь многие комические вещи совершенно непонятны одним людям и близки другим, поскольку тесно связаны с нравами и представлениями данного общества.

Подчеркивая групповой характер смеха, автор тем самым выводит его из категорий чистой эстетики. Точно таким же образом он находит и полезную цель смеха в общественном совершенствовании. Рассуждения Бергсона просты: общество требует от каждого человека настороженного внимания, а также известной гибкости тела и духа. Напряженность и эластичность — вот две взаимно дополняющие друг друга силы, которые жизнь приводит в действие. А если их нет у тела? Это приводит к разного рода несчастным случаям, увечьям, болезням. А если их лишен ум? Отсюда всевозможные формы психических расстройств и помешательств. Если, наконец, то же происходит с характером, то мы являемся свидетелями глубокой неприспособленности к общественной жизни, нищеты, а порой и преступности. Как только эти имеющие важное значение для существования недостатки устраняются (а они могут исчезать сами собой под влиянием того, что называют борьбой за выживание), личность может жить, и жить сообща с другими. Но общество требует еще и другого. Для него недостаточно просто жить, оно хочет жить хорошо, и опасность для общества заключается теперь в том, что каждый, почувствовав биение самой жизни и удовлетворившись этим, во всем остальном может довериться автоматизму приобретенных привычек. Ему следует также опасаться того, что составляющие его члены, вместо того чтобы стремиться ко все более и более согласованному равновесию своих желаний, довольствуются соблюдением лишь основных условий этого равновесия: обществу недостаточно раз и навсегда установленного согласия между людьми, оно требует от них постоянных усилий ко взаимному приспособлению. Малейшая косность характера, ума и даже тела как бы настораживает общество как верный признак того, что в нем активность замирает. Однако общество здесь не может прибегнуть к материальному давлению, поскольку оно не задето материально. Оно стоит перед чем-то, что его беспокоит, но это всего лишь симптом, едва ли даже, угроза, самое большее — жест. Следовательно, и ответить на это оно сможет простым жестом. Смех и должен быть видом общественного жеста. Исходящее от него опасение подавляет центробежные тенденции, держит в напряжении разные виды активности побочного характера, рискующие обособиться и заглохнуть, сообщает гибкость всему тому, что может остаться от механической косности на поверхности социального тела. Но в смехе есть нечто и от эстетики. Одним словом, если включить в особый круг те действия и наклонности, которые вносят замешательство в личную или общественную жизнь и карой за которые являются их же собственные естественные последствия, то вне этой сферы волнений и борьбы, в нейтральной зоне, где человек для человека служит просто зрелищем, остается известная косность тела, ума и характера, которую общество тоже хотело бы устранить, чтобы получить от своих членов возможно большую гибкость и наивысшую степень общественности. Эта косность и есть комическое, а смех — кара за нее.

По Бергсону, смешными будут какие-то *косность или автоматизм*, проявленные в чем-то живом. Особенно заметно это в жестах и движениях, поскольку тело может вызывать представление о простом механизме.

“Вот, например, у оратора жест соперничает со словом. Завидуя слову, он все время гонится за мыслью и требует также и себе роли истолкователя. Пусть так, но он должен

тогда постоянно следовать за ходом мысли, за всеми ее изменениями. Мысль — это нечто непрерывно растущее: от начала речи и до ее конца она пускает почки, цветет, зреет. Никогда она не останавливается, никогда не повторяется. Она должна непрестанно изменяться, потому что перестать изменяться — значит перестать жить. Пусть же и жест живет подобно ей! Пусть же и он подчинится основному закону жизни, состоящему в том, чтобы никогда не повторяться! Но вот мне кажется, что одно и то же движение руки или головы периодически повторяется. Если я это заметил, если этого достаточно, чтобы привлечь мое внимание, если я жду его в определенном месте и оно происходит в тот момент, когда я его жду, — я невольно рассмеюсь. Почему? Да потому что тогда передо мной будет автоматически действующий механизм... жесты оратора, из которых ни один сам по себе не смешит, возбуждает смех, повторяясь”^[20].

Тезисы Бергсона о внедрении механического в природу и об автоматической регламентации общественной жизни как основных видах комического были критически оценены современниками. Главный аргумент противников заключался в том, что предложенная теория не охватывает и не объясняет всех случаев смешного в человеке и в обществе.

“Не смешит нас, — пишет Б.Дземидок, — ни солдатская муштра, ни выдержанные в едином ритме выступления гимнастов, не смешат нас и суставы, сочленяющие кости, хотя они работают как механизмы”^[21].

Упрощенное понимание Бергсона характерно и для других исследователей. Так А.Кёстлер язвительно замечает, что если автоматические повторы в человеческом поведении не более чем занимательный спектакль, то что можно сказать о припадке эпилепсии, или о простом ощупывании пульса, или прослушивании сердца с его монотонным тик-так?^[22]

Частные упрёки в односторонности Бергсон не принимал, поскольку рассматривал термины “косность”, “механизм”, “автоматичность” довольно широко, одновременно подчеркивая важность других приемов комического (противоречие между большим и малым, инверсия и др.). Главное же назначение смеха он видел в социальном — в подавлении всякого стремления к обособлению. При всех его разновидностях Бергсону важным представляется **профессиональный комизм** (профессиональная черствость, профессиональный язык, профессиональная логика). Приведя множество примеров из современных ему комедий и фарсов, Бергсон доказывает, на наш взгляд, главное — принадлежность смеха обществу и зависимость его от общества. Кроме того он определяет и главную функцию смеха — **исправление общества**. Многие типы комизма при этом являются образцами оскорбления, бросаемого этому обществу. На это оскорбление общество отвечает смехом. Смех с этой точки зрения не имеет в себе ничего доброжелательного. Он чаще всего есть оплата злом на зло. Смех наказывает за некоторые недостатки примерно так, как болезнь наказывает за определенные излишества, поражая невинных, щадя виновных, но стремясь достигнуть общего результата.

“Смех рождается так же, как... пена. Он подает знак, появляясь на поверхности общественной жизни, что существуют поверхностные возмущения. Моментально обрисовывает изменчивую форму этих потрясений. Он — та же пена, главная составная часть которой — соль. Он испарится, как пена. Он — веселье. Философ, который собирает его, чтобы испробовать, найдет в нем иногда, и притом в небольшом количестве, некоторую дозу горечи”^[23].

ОЧЕРК ТРЕТИЙ

Л.В.КАРАСЕВ И ДРУГИЕ: СМЕХ КАК СИМВОЛ

Представляется удивительным, что люди смеются над несчастьями других. Идет, к примеру, человек по зимней улице, подскользывается, бессмысленно машет руками и, наконец, падает. Реакция зрителей разнообразна, но после того как упавший поднимается и смущенно стряхивает с себя снег большинство, кажется, улыбается или смеется — случай оказался несерьезным. Само же падение оказалось довольно комичным случаем, нарушившим обычный наскучивший ритм жизни.

Смех, как реакция, в таком случае адекватен ситуации. Зритель расслабляется (ничего серьезного и опасного не произошло!) и начинает смеяться. Обычный ход события восстанавливается. Смех, таким образом, — это нечто большее, чем реакция, это — часть проявления так называемого символического взаимодействия.

Эффект комического жеста, падения, шутки зависит от ситуации и от того, как окружающие оценивают эту ситуацию. Многие талантливые юмористы, понимая этот феномен, использовали его в своей профессии. Люди не просто смеялись над любыми жестами, гримасами, трюками Ч.Чаплина, но и боготворили его.

Примерно такая же картина и с остротами, шутками, анекдотами. Они, как и все другие взаимодействия, возникают в социальной сфере, и от того, как слушатели их оценивают, зависит и соответствующая реакция.

Символический интеракционизм Д.Мида

Попытки социологов объяснить юмор и смех в понятиях символического взаимодействия довольно многочисленны. Среди западных исследователей наиболее заметен Джордж Г.Мид. В своей книге “Мысль, я и общество” (1934) по социальному взаимодействию, идентификации и институтам Д.Мид прикоснулся к проблеме юмора и смеха. Согласно его воззрениям человека можно рассматривать лишь в контексте социального поведения, основанного на коммуникации. Согласно теории символического интеракционизма общество состоит из бесчисленных видов отношений между людьми, которые обмениваются не столько жестами, сколько смысловыми (символическими) действиями, в том числе и смехом.

Исходя из этой посылки, Мид полагал, что люди реагируют и на поступки людей, и на их намерения. Комментируя это положение, Н.Смелсер пишет:

“Когда ваш знакомый подмигивает, вас интересует, что он подразумевает: может быть, он стремится поухаживать за вами, вместе посмеяться над шуткой, высмеять чье-то поведение, не исключено, что он просто страдает нервным тиком. Мы “разгадываем” намерения других людей, анализируя их поступки и опираясь на свой прошлый опыт в подобных ситуациях”^[24].

В подобных случаях важным моментом такого взаимодействия является тот факт, что люди принимают (или не принимают) отношения и роль своего партнера. Мид назвал это так: “взять на себя роль (или отношение) других” (taking the role (or attitude) of others).

Если я что-то буду объяснять партнеру, то он во время общения будет не только слушать меня, но и адресовать мои слова себе. Я в свою очередь не просто адресую ему сказанное, но

представляю его также в роли слушателя и таким образом обращаюсь к себе, будто я сам себя слушаю. Именно благодаря такой интернационализации ролей (или отношений), которую вряд ли осознаем в ходе повседневных событий и действий, мы способны понимать друг друга и общаться в обществе. Кроме того, процесс принятия на себя роли других имеет важное социологическое измерение. Мид доказывает, что мы не просто интернационализируем отношения отдельных (важных) лиц, окружающих нас. Напротив, значительная часть этих отношений представляет собой коллективные и традиционные роли, которые структурно связаны друг с другом. Мид называет эти роли, которые мы учимся интернационализировать в процессе социализации, институтами, а структурно связанные институты — общество. В этом смысле теория Мида очень напоминает идею Дюркгейма о коллективных представлениях (representations), создающих общество.

В своих дискуссиях о смехе Мид приводит сходный пример: мы идем по улице и видим человека, который неожиданно падает. Почему мы в подобном случае смеемся? Очевидно, что мы **идентифицируем** себя с падающим человеком — мы принимаем его отношение и как бы падаем вместе с ним. Сначала это пугает нас, но когда мы осознаем, что ничего серьезного не происходит и нам не надо вставать на ноги и принимать нормальное, прямое положение, а, наоборот, можем помочь человеку подняться, мы заливаемся смехом или улыбаемся. Напряжение исчезает, мы можем расслабиться^[25].

Теоретические рассуждения Мида, включая краткую трактовку смеха, были фрагментарными и, естественно, были встречены с некоторым сомнением. Было, в частности, замечено, что приведенный Мидом пример показывает также, что он рассматривает смех прежде всего как ответную реакцию на стимул. Однако что касается последнего (стимула), следует иметь в виду, что ответная реакция в процессе взаимодействия всегда зависит от стимула. В процессе принятия роли другого реакция немедленно изменяется в стимул и наоборот. В теории Мида социальное взаимодействие напоминает нечто неуловимое, в котором трудно определить, что является стимулом, а что реакцией, что причиной, а что следствием. Любой бессмысленный жест в многозначном контексте взаимодействий может получить свое символическое значение. Человек спотыкается и падает, и этот факт сам по себе не имеет значения, но в многозначном контексте, в котором люди рассматриваются как живые существа, которым следует правильно двигаться, это событие становится смешным и юмористичным, и это выражается с помощью смеха^[26].

Известно, что по формулировке Мида общий мир существует в той степени, в которой существует и общий опыт. Существование системы абстрактных символов, которой является, например, система языка, делает возможным общение и понимание без необходимого общего опыта.

Определенные коррективы в теорию символического интеракционизма внес Т.Парсонс, полагавший, что культура есть разложенная по образцам упорядоченная система символов. Эти символы играют большую роль, поскольку представляют собой элемент социального поведения. Чтобы стало возможным какое-либо взаимодействие, необходимо, чтобы люди понимали событие одним и тем же образом, то есть придавали одно и то же значение. Словом, понятие символа относится в целом для общества, для его групп с их ценностями и знаками, выступающими не во всех видах коммуникации.

В популярном виде у одессита, одного из известных юмористов — это выглядит следующим образом. На вопрос искусствоведа Е.Уваровой, изменилась ли публика за последние годы, он ответил:

*“Дело в том, в какой аудитории ты выступаешь. Если придешь в университет, там всегда прекрасная публика. В банкетном зале, где празднуется юбилей какого-то учреждения, восприятие публики будет совсем иным. Спектакли... были всегда рассчитаны на широкую демократическую публику. Очень разную, но все же обладающую **определенным интеллектом**” (подчеркнуто мной — А.Д.).*

“Смех — серьезность” А.С.Ахиезера

Как видно из вышеприведенного заголовка, автор трехтомной работы “Россия. Критика исторического опыта” исходит из рассмотрения смеха в рамках культурной матрицы и противопоставляет его серьезности, находящейся к смеху в дуальной оппозиции, полюса которой находятся в состоянии амбивалентности. Именно поэтому творчество А.Ахиезера представляет собой направление, где символы общения (в данном случае через “смех”, “серьезность”) представляют собой две стороны культуры. Смех снижает сложившуюся ценность, престижность того или иного явления, помогая таким образом человеку подняться над собственной ограниченностью. Смех — эмоциональная реакция на парадоксальность ситуации, позитивная реакция на полноту мира, который вопреки несовместимости полюсов дуальной оппозиции, несет в себе возможность и необходимость их совместного существования. В этом смысле смех противостоит насилию, так как он стремится к ликвидации одного из полюсов, но нацелен лишь на изменение его оценки в шкале ценностей человека. Смех открывает путь **срединной культуре**, через переосмысление своего “Я”. Так он представляет одновременно основу для возможного массового социального действия, где переосмысление “Я” и “не-Я” становится предметом массового общения.

В отличие от смеха серьезность требует от человека некоторой заданности, конформизма, т.е. некоторой навязываемой и одновременно дисциплинирующей его логики. Серьезность в оппозиции “Я” — “не-Я” выявляет приоритет “не-Я”, т.е. необходимость для “Я” следования внешнему порядку. Само существование “Я” зависит от его способности ему следовать. Для серьезности безразлично, следовать ли неизменному порядку или изменению, важен лишь некритически принимаемый принцип.

Эта серьезность приобретает форму сложных социальных институтов, явлений, которые следуют накопленному опыту. Официальная идеология при этом воплощает необходимость определенного порядка, который может казаться незыблемым, существующим вечно. Эта институционализируемая серьезность противостоит карнавальному разгулу, снижающему смеху. Смех и серьезность — две стороны культуры, существуют, лишь переходя друг в друга. Серьезность переходит в смех, так как выявляется относительность всякого основополагающего принципа. Человек может существовать лишь тогда, когда он смягчает серьезность своих идеалов, идолов, тотемов, идеологов, вождей и т.д. шуткой, смехом, анекдотом. Смех переходил в серьезность во всей истории человека, поскольку приводит к некоторому результату, к некоторому, возможно, новому соотношению нового и старого. Именно поэтому смех приводит к некоторому переосмыслению сложившегося опыта культуры, который может стать основой нового порядка. Само общество может существовать, если оно находит благоприятные соотношения между смехом и серьезностью, соответствующую форму перехода, которая отвечает сути данного общества, способствует уходу от реальной опасности односторонности каждого из них. Однако далеко не всегда общество способно найти благоприятную меру между смехом и серьезностью.

В России смех и серьезность оказались расколотыми, разделенными по разным сферам.

Смех, который не может превратиться в серьезность, неизбежно деградирует, превращается в сатанинский хохот, ведущий к разрушению, погрому, алкоголизму, превращается в дезорганизирующий шабаш. Карнавальное снижение власти, господствующей идеологии может стать в этом случае реальным разрушением. Смех как бы не выдерживает внутреннего напряжения и перестает удерживать в себе противоположности дуальной оппозиции, ее исходный и рефлексивный уровень, вместо их соотнесения он соскальзывает к яростной попытке насильственного разрушения одного из полюсов исходной оппозиции. Возникает реальная дезорганизация, сползающая к катастрофе, что воспринимается как результат действия злых сил. При этом саморазрушение смеха может происходить в разных формах. Смех, замкнутый в локальных мирах, не способный подняться до целого, естественно, оказывается чуждым этому целому. В этом случае смех может превратиться в болезненное, не находящее реализации возбуждение, в склонность к пьянству, к уходу от реальности. Это превращает смех в форму деградации личности и общества. Серьезность, не способная перейти в смех, следует принципу, который уже потерял смысл и приводит к саморазрушению, к дезорганизации, к катастрофе. Смех и серьезность оказываются неспособными вступить друг с другом в диалог.

В расколотом обществе государственность страшится смеха, так как постоянно видит в нем потенциальную разрушительную силу. По мнению автора, борьба в России между государственной серьезностью и смеховой культурой никогда не утихала, принимая подчас ожесточенные формы^[27]. При Сталине древняя борьба со скоморохами превратилась в ожесточенный террор против любого слова, которое могло быть истолковано как противоречащее абсолютной серьезности государства. Сила серьезности в том, что она собирает силы порядка, создает предпосылки повседневной жизни. Смех в расколотом обществе идет на поклон к серьезности, так как он сам не может обеспечить условия, средства и цели устойчивого воспроизводства. Отсюда отступление смеха перед серьезностью, признание ее права на господство, на власть, на высший авторитет. Серьезность ставит перед собой задачу обеспечить интеграцию общества, постоянно решать медиационную задачу. А.Ахиезер замечает, что борьба государственной серьезности и народного смеха всегда была неравной. Смех беззащитен под ударами топора серьезности. Однако смех неистребим, он везде и всюду, и топор слишком груб и неповоротлив, чтобы успеть везде. Между тем смех постоянно подтачивает основы серьезности, рано или поздно уничтожает ее господствующую форму, заставляя смеяться всех, включая палачей и бюрократов, открывая тем самым, что они тоже люди, **личности** в каждой из которых смех и серьезность постоянно решают свой спор. Серьезность в расколотом обществе в конечном итоге идет на поклон смеху, открывая себе свое банкротство. Вспомним в связи с высказанной мыслью неудачу российской прокуратуры в борьбе с телевизионной сатирической передачей “Куклы” (1995 г.).

Периодическая смена смеха и серьезности сама серьезна, так как является элементом циклов истории, но она достойна осмеяния до самих своих оснований, как смех, так и серьезность безмерны, они не находят своей меры и тем самым разрушают друг друга. Иначе говоря, серьезности не хватает смеха, а смеху — серьезности. Эта взаимозависимость не может быть удовлетворена взаимопожиранием. Она требует диалога.

Важнейшим орудием серьезности, по Ахиезеру, является **идеология**, которая решает задачу обеспечения нравственной основы интеграции общества. Идеология — высшее воплощение серьезности, необходимости решения медиационной задачи перед лицом массового смеха, перерастающего в сатанинский хохот всеобщего разрушения.

Социокультурные функции идеологии поэтому — обеспечение культурных предпосылок для воспроизводства каждой личностью интеграции общества. Но одновременно идеология

может лишь серьезно относиться к массовому сознанию, включая и то, что в нем с точки зрения идеологии несерьезно, т.е. смеховую культуру. Ее признание неизбежно и одновременно смертельно опасно для идеологии, так как именно смех важнейший фактор ее разоблачения^[28].

Обобщающий экскурс Л.В.Карасева

Уже в конце 80-х — начале 90-х гг. в ряде российских, французских и польских изданий появились работы отечественного автора Л.В.Карасева, в которых предлагалась новая концепция юмора и смеха. Основной ее смысл состоял во взгляде на смех как на **целостный культурно-исторический и онтологический феномен**, раскрывающий свой смысл при сопоставлении его с окружающими его символами^[29].

Концепцию Л.Карасева, несмотря на то, что она имеет несомненный философский характер, можно назвать “смысловой”, так как в основе всех построений автора лежит гипотеза о смехе, как о **символическом** целом, развивающемся по своим **внутренним законам**. Смех предстает перед читателем как набор смысловых линий, вступающих друг с другом в сложные отношения, но в конечном счете составляющих единое универсальное целое.

Проблема происхождения смеха представляет для исследователя интерес не столько содержательный, сколько методологический. Автор довольно твердо относит вопрос о возникновении чувства смешного к области, выходящей за границы того, что можно назвать собственно “научным знанием”. Мы ничего не можем сказать о происхождении смеха, подобно тому, как нам ничего достоверно и точно неизвестно о происхождении всех остальных компонентов, составляющих квинтэссенцию человеческой деятельности и чувственности — языка, мышления, ритуала, мифа и т.д. Именно поэтому проблема происхождения смеха не может рассматриваться отдельно, изолированно. Да и сам смех возникает одновременно с языком и мышлением. Что же касается динамики этого процесса, то Л.Карасев придерживается точки зрения, согласно которой смех появляется “сразу”, “мгновенно” вместе со всеми остальными важнейшими элементами человеческой культуры (сходной точки зрения, например, на происхождение языка придерживаются многие лингвисты). Смех возникает как единое целое, как сложившееся качество и уж затем — как целое — начинает развиваться обогащаться и т.д.

Согласно концепции Л.Карасева, все видимое многообразие различных проявлений юмора и смеха принципиально сводимо к двум основным типам. Первый тип смеха связан с ситуациями, когда человек выражает свою радость, телесное ликование, “телесный” или “витальный” энтузиазм. Этот тип Л.Карасев называет “смехом тела” и относит к разряду состояний, которые характерны не только для человека: нечто похожее можно увидеть и у животных, которым также знакомы радость игры и физическое удовольствие^[30]. Второй тип связан с собственно комической оценкой действительности. Этот вид смеха может включать в себя и элементы только что названного типа, однако его сущность в том, что он представляет собой соединение эмоции и рефлексии. Этот тип получил наименование “смеха ума”. И хотя в данном случае речь идет о следовании в русле достаточно традиционном, предлагаемый вариант редукции выглядит оригинально и перспективно.

Если первый тип — “смех тела” — по преимуществу относится к “низу” человеческой чувственности, то второй — “смех ума” — к ее “верху”. Это область рефлексии, парадоксальной оценки, сфера проявления остроумия. “Смех ума” — это тот самый смех, который имел в виду Аристотель, когда писал о способности смеяться, как о специфической черте человека, отличающей его от животного.

В начале своей жизни ребенок смеется “смехом тела”, то есть по сути своей смехом “дочеловеческим”. Для того чтобы развилась способность к смеху умственному, оценочному необходимо, чтобы в сознании ребенка сформировались зачатки рефлексивно–логического мышления. В тех случаях, когда дети смеются вместе со взрослыми над какими–то “взрослыми” шутками, речь идет не о “смехе ума”, а о детской природной склонности к подражанию. По Л.Карасеву, смех ребенка “формален, поверхностен, он лишь имитирует понимание того, что на самом деле пока еще не кажется ребенку ни смешным, ни понятным. Но постепенно дело идет на лад: он начинает все чаще угадывать, выделять те ситуации, которые следует оценивать посредством “взрослого смеха”^[31]. Научившись “смеху ума”, ребенок не теряет и “смеха тела” — теперь в нем сосуществуют обе формы смеха, что дает ему возможность при помощи внешне похожих реакций оценивать самые разнообразные и не похожие друг на друга ситуации.

Концепция Л.Карасева относится к направлению, имеющему название “негативистского”. Речь идет о теории, исходным пунктом которой является усмотрение в самых различных проявлениях комизма и смеха некоторого элемента негативности. У истоков этой традиции лежит формула Аристотеля, согласно которой “...Смешное — это некоторая ошибка и безобразия; никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное”^[32]. Как пишет об этом Л.Карасев, в плане исходной теоретической посылки “никому еще не удавалось выразить суть комизма лучше, чем Аристотелю”^[33]. Перечисляя имена Гоббса, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Стерна, Спенсера, он замечает, что никто из них от аристотелевского определения, в общем, далеко не ушел, так как автор “Поэзии” отметил самое главное. Другое дело, что возможны нюансы и различные повороты этого исходного тезиса. В этой связи Л.Карасев выстраивает логику взаимоотношений смеха и зла весьма последовательно, так, что в конечном счете универсальное положение о том, что смех является парадоксальным способом оценки и преодоления некоторой “меры” зла, обнаруживает в себе возможности для объяснения как внутреннего механизма смеха, так и для выстраивания классификации различных форм смешного.

Смех возникает при нескольких важных условиях какой бы ни была конкретная “смеховая ситуация” наличие этих условий обязательно. Во–первых, в вещи или ситуации, подвергшейся осмеянию, должно обязательно присутствовать зло. Во–вторых, это зло должно быть представлено в выразительном виде, и в–третьих, зло должно быть “умеренным”, тем или иным образом смягченным. Проведенная достаточно последовательно подобная логика позволяет нарисовать общую картину юмора, опираясь на понятие “эстетической дистанции”. Через понятие “меры” зла описывается и история смеха. Здесь важен учет того, что смех всегда выступает как нечто вторичное по отношению к злу. Смех лишь отражает зло в своем зеркале, но никогда не является его подлинной причиной. При поверхностном взгляде на эти вещи причины и следствия легко спутать, и в этом одна из причин того, что по сию пору “лик смеха омрачен еще тенью подозрения”^[34].

Объясняя смысл наиболее часто приводимого в таких случаях аргумента (толпа, смеющаяся над распятым Христом), автор пишет, что толпа “кажется нам сегодня более жестокосердной, чем она была на самом деле. Толпа не знала, кто и за что погибает на ее глазах; она смеялась над “обманщиком” и “самозванцем”, а не над Сыном Божьим. Поэтому ее смех был, быть может, грубым, жестокосердным, но все–таки никак не дьявольским”^[35]. Что же касается истории взаимоотношений смеха и дьявола, то и здесь многое объясняется через понятие “меры”, изменяющей со временем акценты и делающей смешными те вещи, которые прежде такими не казались. “Мера зла — без которой смех невозможен, — величина переменная, но сам принцип меры постоянен как Полярная звезда. “Мера” пульсировала, менялась, и вместе с ней изменялся смех. Так мрачно–зловещий облик бесов, начиная с эпохи готики, меняется в сторону комичности и веселого фарса. Дистанция между

внушавшим ужас дьяволом раннего средневековья и дьяволом фантазмагорий Джона Кольера порождена прежде всего разбуханием той исходной “меры”, которая когда-то налагала печать на смеющиеся уста и приводила в трепет любого остролиста”^[36].

Особо Л.Карасев отмечает те ситуации, где смех присутствует, но в то же время никаких следов зла — социального или какого-либо иного, не обнаруживается. Подобных случаев можно насчитать немало, однако общей теоретической картины они не нарушают, так как относятся к тому самому “смеху тела” (таков, например, ранний детский смех), который не имеет со “смехом ума” ничего общего, кроме формы выражения: растянувшихся губ и оскала верхних зубов. Последнему обстоятельству Л.Карасев уделяет немало внимания, объясняя вслед за Л.Нуаре и К.Лоренцом это сходство через идею “ослабленной агрессии”. Почему комизм выражается в форме так напоминающей гримасы плача и ярости? Если допустить, что в основе смеха лежит та же самая причина, что и в основе ярости и плача (негативность, но ослабленная и к тому же выразительная), тогда появляется возможность увидеть здесь некоторую логику: “реликтовая, функционально бесполезная мимика — обнажение зубов в гримасах страдания и ярости — закономерно сохраняется и в смехе, но смягчается, маскируется и обретает иной смысл. Мимика улыбки и смеха оказывается эвфемизированной формой оскала недовольствия — меньшей доле увиденного зла соответствует “ослабленный” вариант агрессии; по сути, перед нами ее “тень”, имитация, не оставляющая, однако, сомнений относительно источника своего происхождения”^[37].

Гипотеза, согласно которой сложившаяся традиция рассмотрения смеха как “тайны”, парадоксального набора не похожих друг на друга причин и следствий объясняется тем, что два различных вида смеха — “смех ума” и “смех тела” — вынуждены делить между собой одну и ту же форму мимического выражения, одну и ту же “маску”. “Смех ума” появляется тогда, когда основные человеческие эмоции уже сформировались и обрели “прописку” на лице. Сильная радость, сильная ярость и сильное страдание не случайно похожи друг на друга: их сходство как раз и объясняется силой чувства. Когда же появился “смех ума”, ему не оставалось ничего другого как внедриться в уже сформировавшуюся маску радости.

“Смех радости и смех ума выражаются в одной и той же форме — вот в чем причина, — отождествления этих двух различных чувств, и вот в чем причина традиционного противопоставления смеха и плача. Смех — знак радости; оттого так естественно противопоставить его слезам: что же до более детального разбора устройства смеха, его особой двойственной природы, то до этого стихийная семиотическая работа общественного ума не дошла, ибо полученной пары уже вполне хватило для того, чтобы задать культуре работы на многие тысячелетия”^[38].

Вопрос о существовании двух видов смеха подводит нас к центральному пункту рассуждений Л.Карасева о природе юмора и смеха. Анализируя вопрос о том, что может быть противопоставлено смеху в качестве соответствующего ему эмоционального и смыслового антипода, Л.Карасев ставит под сомнение универсальность традиционного противопоставления смеха и плача, смеха и серьезности. Так слезы могут быть антитезой смеха, но только на одном — низшем уровне противопоставления. Если сравнить слезы и смех по тому месту, которое они занимают в иерархии человеческой чувственности, то выяснится, что смех стоит гораздо выше слез. Смех — сложнейшая, парадоксальная эмоция, в которой выражается сущность человека как родового существа (Аристотель). Слезы же, при всей глубине и сложности стоящих за ними причин, все-таки не являются чем-то специфически человеческим. Животное умеет плакать, но не умеет смеяться. “Упрощая дело, — замечает Л.Карасев, — можно сказать, что смеха два, а плач один”^[39]. Если противопоставить слезы “смеху тела”, тогда антитеза будет равноправной. Если же под “смехом” понимать “смех ума”, тогда равновесие будет нарушено.

В качестве антитезы подлинного человеческого смеха Л.Карасев (в отличие от А.Ахиезера) предлагает *чувство стыда*. В этом на первый взгляд неожиданном решении есть своя логика, подтверждающаяся большим фактическим материалом, который автор привлекает из самых различных областей, включая сюда философию, психологию, историю, филологию и т.д.

Антитеза смеха и стыда составляет идейный стержень всей его концепции. В равной степени это сказывается как на вопросе о прошлом смеха, его происхождении, так и на проблемах смеха сегодняшнего и завтрашнего.

Задавшись вопросом о том, что слезы не могут быть полноценной антитезой “смеха ума”, автор находит все соответствующие смеху параметры в **феномене стыда**. Если коротко их перечислить, то здесь прежде всего окажутся такие параметры, как “умственный”, рефлексивный характер стыда, неожиданность, непредсказуемость момента его возникновения, невозможность подавить в себе это чувство с помощью разума, хотя по природе своей оно глубоко разумно, сила аффекта, его связь с областями этики и эстетики и т.д.

Согласно идее Л.Карасева названные качества стыда являются равнозначными соответствующим качествам смеха. Стыд — это смех, но только перевернутый с ног на голову. Стыд — “отрицательный модус” смеха, их родство можно обнаружить не только в развитых формах, но и в самой точке возникновения. Стыд, как и смех, тоже оказывается двойственным: есть “стыд тела” и есть “стыд ума”. Если “смех ума” исторически использует уже готовую маску “смеха тела”, то “стыд ума” точно так же использует маску своего примитивного предшественника — “стыда тела”.

“Так же, как и подлинный смех, сосуществующий бок о бок со своим примитивным предком–двойником”, стыд происходит из реакции телесно–сексуальных переживаний и так же сосуществует с ней в одних и тех же формах (смушение, румянец). В обоих случаях — налицо удивительная метаморфоза. Полная смена внутреннего смысла, ошеломляющая по своей решительности, — почти чудо, необъяснимое никаким простым накоплением или постепенным историческим развитием”^[40].

Сравнивая психологическую и смысловую суть смеха и стыда, можно найти их сходные и одновременно противостоящие друг другу черты.

“Возникнув, стыд и смех ведут себя очень схоже: и тот, и другой являются непрошено, завладевают нами полностью, останавливая время и пуская его вспять. Со стыдом справиться так же трудно, как и с приступом хохота. Подобно спазмам смеха, возвращающим нас к чудесному моменту обнаружения нашего превосходства, “спазмы” стыда возвращают к ситуации, в которой наша вина стала явной и осознанной “изнутри”. Причем в обоих случаях действительная, внешне–физическая прагматика отсутствует: стыд, приносящий нам сильнейшие и вполне реальные страдания, на самом деле не связан с какой–то реальной, актуальной угрозой. Смех же, дающий нам не менее сильную радость, никак не соотносится с действительным, “всамделишным” благом. Стыдясь, мы не становимся беднее, а смеясь — богаче”^[41].

Смех, разумеется, отличается от стыда по направлению своего смыслового движения. Смех в большинстве случаев направлен на другого человека, тогда как стыд — чаще всего на самого стыдящегося. Смех движется изнутри — наружу. Стыд — снаружи во внутрь.

“Смех рассчитан на то, чтобы быть услышанным. Стыд молчалив, чужд общению: человек

как бы временно умирает — цепенеет, опускает голову, прячет глаза, и только румянец красноречиво свидетельствует о том, какой пожар бушует в его душе. Подобно тому, как смех преодолевает зло в другом, не побуждая человека к физическому наказанию этого зла, стыд выступает как осознание зла в себе, его власти над нами, но без помысла ответить, отомстить тому, кто заставил тебя испытать стыд”^[42].

В обоих случаях стыд и смех противостоят, хотя и по-разному, злу: если в первом случае чувство преодоления зла имеет положительную окраску, то во-втором — оно должно быть отнесено к разряду эмоций отрицательных. Л.Карасев пишет о “взрывном” характере смеха и стыда, о том, что оба этих чувства “изоморфны” друг другу: “не случайно стыдливость более всего сторонится насмешливости, ибо смех ранит стыдящегося в самое сердце, а если быть точнее, то в ум. И если искать “идеальный”, абсолютный ответ на смех, то им будет именно ответный стыд”^[43].

Исторически смех и стыд связаны между собой через понятие “греха”. Отсюда идет традиционное негативное отношение к смеху со стороны христианства: неумеренный смех воспринимается как “грех” и “зло”. А на Руси смех становится одной из характеристик черта и входит в ряд пословиц соответствующего ряда: “Где смех, там и грех” и т.д.

В этом отношении смех и стыд имеют ярко выраженную социальную функцию. Это мощные регуляторы общественного и персонального поведения и выбора тех или иных решений. Осмеять кого-то — значит выставить на общественный “позор”, на всеобщее публичное (постыдное) обозрение. Испытать стыд — значит почувствовать в себе вину за совершенный поступок, признать себя виновным перед обществом или каким-то конкретным человеком.

Обсуждая исторический аспект проблемы противопоставления и вместе с тем содружества смеха и стыда, можно привести пример древнегреческой культуры, где оба названных регулятора дополняли друг друга, являясь реальными мерами общественного поведения, ответственности человека перед социумом. Не случайно греческая культура предстает не только как “смеховая”, но и как “стыд-культура” (shame-culture). В более широком аспекте это взаимодополнение смеха и стыда характерно для всей истории культуры. “История повсеместно объединила смех и стыд в устойчивую этическую пару и дала нам возможность лицезреть быстро развивающееся многообразие оттенков этих чувств, столь не схожих внешне, но в то же время глубоко родственных и живущих по установлениям единого универсального закона”^[44].

Рассматривая вопрос об истории смеха, Л.Карасев проводит исследование темы архаического или мифологического смеха. В мифе трудно найти “чистые” варианты умственного или телесного смеха, чаще всего здесь присутствуют их смешанные формы, что сказывается и на тесных взаимоотношениях смеха и стыда. Как правило, в мифе речь идет о военных или брачно-эротических ритуалах, в которых смех и стыд, взятые в их низшем и высшем проявлении, выступают мерами поведения воина или девушки-невесты. Они выступают либо как знаки согласия, покорности, поражения, либо же как знаки соперничества, победы.

Наиболее оригинальной здесь является попытка составить своеобразный “словарь” смысловых пар, которые смех образует с различными символами. Здесь помимо хорошо известных пар, связанных с темой светорождения (“смех и огонь”, “смех и красное”, “смех и роды” и пр.), берутся такие пары, которые выглядят довольно неожиданно. Как показывает Л.Карасев в своей работе “Мифология смеха” пары “смех и волосы”, “смех и одноглазие”, “смех и мышь”, “смех и соль” имеют в своей основе ту же самую логику, что и вышеперечисленные. Однако связь между смехом и символом здесь более сложная или

более опосредованная. Так пара “смех и волосы”, весьма распространенная в мифологии, является продолжением темы “рождающего солнца” или “света”. Пара “смех и одноглазие” оказывается следствием соединения мотивов “одинокое солнце” и человеческого лица, которое в мифологии сопоставляется с небом. То же самое можно сказать и о паре “смех и мышь”, в которой мышь оказывается символическим солнцем, проходящим путь под землей, чтобы снова родиться и “рассмеяться” на рассвете. Пары “смех и белое” и “смех и соль” также связаны с темой солнечного света: в первом случае речь идет о смехе полуденного солнца, а во-втором — о причинно-следственной связи между солнцем и солью (соль — продукт выпаривания солнечными лучами; отсюда — сохранившиеся до сих пор представления о смехе, как о соли — “соль анекдота” и пр.).

В целом концепция архаического смеха, предложенная Л.Карасевым, предстает как *целостное построение* (и это ее отличительная черта), проливающее свет не только на прошлое смеха, но и на смех сегодняшний. Главная идея здесь состоит в том, что смех нужно рассматривать как нечто целое, неразрушимое: смех движется в контексте культуры, приобретает внешне различные формы, но при этом внутренней своей единой сути не теряет. Это, так сказать, иллюстрация к принципу “единства в многообразии”, демонстрация того, что дает универсальный взгляд на такие пестрые и не похожие друг на друга вещи, как исторические формы смеха. История смеха сказывается и на его сегодняшнем дне. Как пишет Л.Карасев, когда сегодня “мы говорим о “светлом” или “искрометном” смехе, о “сияющей” улыбке — или даже видим ее воочию на детском рисунке, изображающем смеющееся солнце, — мы уже не помним о тех смыслах, которые за всем этим скрываются. Мы можем только догадываться о том, что перед нами — плоды культурной традиции, чьи корни уходят в толщи самого древнего и навсегда закрытого от нас прошлого”^[45].

Особое место в концепции занимает вопрос о смехе и свободе (проблема свободы, в свою очередь, связана с темой будущего). В противоположность общепринятой точке зрения на смех как на проявление человеческой свободы автор придерживается мнения о “принудительном” характере смеха, о несвободе смеющегося человека. Речь, разумеется, идет о несвободе условной, символической. Смех поэтому может быть представлен как самостоятельная сила, как феномен, живущий по своим законам.

“Смеясь, мы подчиняемся чужой воле — воле смеха. Смех приходит к нам со стороны, а вовсе не изнутри нашего существа; приходит как мощная самостоятельная сила, мы же, в свою очередь, всего лишь совершаем смех, даем ему сбыться, осуществить себя в нас. Не мы свободны, а смех”^[46].

Смех невозможно проанализировать, а если это проделать, то исчезнет сам эффект смешного. “Ум для смеха — средство, но никак не цель и не источник. Не ум приходит за шуткой, а шутка приходит на ум. Приходит, если захочет или же если в ней возникнет потребность, идущая опять-таки не от нашего желания, а от чего-то иного, обнимающего собой сразу все; и сам смех, и все наши попытки понять его существо”^[47].

Благодаря своей независимости смех и может выступать в качестве особого регулятора поведения и человека и его самооценки. Причем не только наличие смеха, но и его отсутствие может оказать на человека очень сильное воздействие (согласно гипотезе Л.Карасева, в сне нет смеха, а если он и появляется, то это означает, что сон заканчивается). Сон выступает как время “проверки” сделанных поступков и выработки “планов” на будущее. Отсутствие смеха во сне ставит человека в положение, когда он оказывается незащищенным от своих тайных страхов и желаний и должен оценивать их “самостоятельно” в прямом смысле этого слова^[48].

Принудительный характер смеха Л.Карасев связывает с его особой природой и предназначением: смех представляет собой эмоцию, резко выделяющуюся среди всех остальных (смех как “благой ответ на реплику зла”). Парадоксальный характер смеха говорит о том, что он является “эмоцией будущего”.

“Кажется, что он взят из какого-то еще неведомого набора чувств и дан нам как компас, указывающий, куда двигаться дальше. В этом смысле смех преждевременен, хотя его преждевременность неслучайна и имеет глубокий смысл. Смех тянет нас в будущее, ибо знает о том, что оно возможно и осуществимо. Сила смеха в том, что он представляет мир будущего...”^[49].

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ

Ю.БОРЕВ И ИНТЕЛЛИГЕНТСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Совсем недавно российский читатель смог ознакомиться сразу с двумя произведениями Ю.Борева: “История государства советского в преданиях и анекдотах” (М., 1995) и “Краткий курс истории XX века в анекдотах, частушках, байках, мемуарах по чужим воспоминаниям, легендах, преданиях и т.д.” (М., 1995). Если добавить к ним предыдущие работы (“Сталиниада”, “Фарисея”), то, по сути дела, перед читателем предстает своеобразная энциклопедия социального опыта советской интеллигенции, так называемая энциклопедия неподцензурного устного рассказа. Безымянными авторами этих рассказов выступали кто угодно: как простые очевидцы событий, так и знаменитые политические деятели, т.е. читатель сталкивается с жанром мемуаров по чужим воспоминаниям.

Автору, президенту Академии эстетики и свободных искусств, каким-то образом чуть ли не ежегодно удается издавать по книге. По-видимому, кроме таланта — главной причины плодovitости, следует иметь в виду долгожданное обретение литературных и политических свобод, да и спрос на книжном рынке на серьезный (именно так) юмористический жанр.

Но начну свои размышления о книгах Ю.Борева с собственных, далеко не юмористических воспоминаний.

В журнал “Социологические исследования” я пришел работать в качестве главного редактора в конце 1987 г. и сразу же, как обычно говорится, столкнулся с необходимостью решать некоторые проблемы. Одна из них заключалась в ответственном секретаре редакции Валентине Попове, который, как мне тогда казалось, слишком уж по-журналистски подходил к подборке материала в номер. В начале нового года он привел в редакцию представительного вида пожилого человека, который, как выяснилось из беседы, был личным охранником Сталина. С большим сомнением я принял к печати его материал в рубрику “Время, идеи, судьбы” под названием “Рядом с И.В.Сталиным”. Последующие комментарии и письма в редакцию убедили меня в правильности принятого решения. Дело в том, что профессиональный социолог смог не только заметить апологетику Сталина, но и оценить материал в качестве “устного” документа^[50]. Наиболее взвешенным представляется мнение И.В.Бестужева-Лады, посчитавшего, что сопоставление различных документов позволяет “ближе подойти и к исторической правде, и к социологической обоснованности”^[51].

Поведение Берии при последних днях жизни Сталина А.Г.Рыбин описывает следующим образом.

“...Берия нагонял на врачей страх зловецим вопросом: “А вы гарантируете жизнь товарищу Сталину?” Настойчивого эскулапа, предлагающего помощь, он спросил: “Ты кто такой? Ты провокатор или бандит?”

Свою оценку книг Ю.Борева я начал с собственных воспоминаний, естественно, не случайно. Зависть к людям, бережно относящимся к памяти своих предков, навряд ли самое худшее из моих качеств. Публикации Ю.Борева в этой связи явно нельзя отказать в праве на существование в качестве серьезно-юмористического социально-исторического документа, что я и попытаюсь показать.

Главная новизна книг Юрия Борева заключается в своеобразной узаконенности слухов как особой социологической формы, так не похожей на традиционную, ставшую уже привычной

для читателя литературу.

На слухи социологи и психологи привыкли смотреть с позиций оценки некоего недоработанного, неуловимого документа, который содержит в себе сведения, существующие лишь недолгое время. Но слухи все же неоценимо важны для оценки эпохи, и процесс исследования заставляет собирать, запоминать и излагать жизненные ситуации, неожиданные случаи, услышанные анекдоты. Словом, слухи, как это ни звучит парадоксально, вообще не могут быть поняты неавторским сознанием.

В книге “История государства советского в преданиях и анекдотах” ее автор, видимо, совершенно уверенно констатирует, что в закрытом обществе слух — главная форма информации. Война слухов, по сути дела, представляет собой довольно важную часть общественной жизни.

Имея своей оппозицией письменные (официальные) источники, устная, зачастую с юмористической окраской, речь не менее достоверно передает те или иные факты, столь необходимые для серьезного исследователя. Именно поэтому автор дает образец совершенно иного, но все же **документа** — вот постулат, на фоне которого многое становится понятным при чтении книги.

Разумеется, наличие определенного опыта у любого исследователя–гуманитария исключает на первый взгляд возможность признания надежной достоверности этого вида документа. Но лишь до того момента, когда слухи становятся письменным источником, т.е. предстают во вполне оформленном и официальном виде. Переход “слух” — “письменный источник” в общем–то не нов в русской социальной мысли^[52]. Что касается политически “чистого” слуха, то Ю.Борев, кажется, стал своеобразным архивистом (см.: “Сталиниада”, “Фарисей” и др.), собирая и обрабатывая так называемый интеллигентский фольклор. Дополнительным источником ему послужили и малоизвестные в годы советской власти печатные тексты, которые при устном пересказе несколько меняли свое содержание. Понимая всю неопределенность понятия “слухи”, автор обратил внимание на короткие остроумные рассказы–анекдоты, политические реплики и необычные высказывания отдельных актеров тогдашнего политического театра. При этом возникла проблема типологизации столь разнообразного материала. Положенный в основу книги исторический подход, естественно, в какой–то степени может удовлетворить лишь представителя определенной специальности. С точки зрения социолога все же наибольший интерес представляет группировка по социальной ориентации **участников** коммуникационного процесса. В его работах, как мне представляется, противостоят, или вернее, взаимодействуют две основные социально–профессиональные группы: **интеллигенция** и **политические функционеры**. Это означает, что посредством устной речи не просто “движется информация” внутри одной социальной группы, но противостоящие участники стремятся переориентировать друг друга, т.е. достичь определенного изменения восприятия и поведения. При этом межгрупповые взаимодействия дополняются внутригрупповыми. Исследователи находят две разные задачи в ориентации друг друга. А.А.Леонтьев и Г.М.Андреева обозначают их соответственно как личностно–речевую и социально–речевую ориентации, что отражает не столько различие адресатов сообщения, сколько преимущественную тематику, содержание коммуникации.

Так внутригрупповая ориентация политиков отличается заметной агрессивностью и отсутствием сколь–либо значительных культурных стандартов, сопровождается чрезвычайно высокой самооценкой.

Ленин говорил: “В партии только три настоящих коммуниста: Ульянов, Ленин и я”.

Арестованного Каменева привели на допрос к Сталину.

— Почему вы, еврей, взяли русскую фамилию и стали Каменевым?

— Я, как еврей, отвечаю вопросом на вопрос: почему русский Скрябин взял псевдоним Молотов, Бельтов — Плеханов, Ульянов — Ленин, а грузин Джугашвили стал Сталиным?

Тот же (внутригрупповой) тип ориентации среди профессиональных литераторов, физиков, философов, художников и других “вольных” специалистов, хотя и менее агрессивен, все же несет печать эпохи.

Илья Эренбург говорил: “Современные молодые поэты напоминают мне немецких девушек, которые зарабатывают себе на приданное проституцией” (с. 169).

Тот же Эренбург рассказывал, как Мейерхольд хотел его арестовать за недостаточно идейное понимание искусства.

При межгрупповых ориентациях “интеллигенция — власть”, “власть — интеллигенция” отношения выглядят более опосредованно. Внутри интеллигенции, как, впрочем, внутри других социальных групп, слух никогда не приходит через незнакомых лиц. Если же он сообщается близким другом, родственником, сослуживцем, то определенное доверие будет обеспечено. Поскольку истинно именно то, что группа считает истинным. Люди немедленно повторяют то, что узнали, и будущее слуха зависит от их дальнейшей реакции: живучесть слухов о бесчестности политиков зависит от степени постоянства негативного отношения к ним.

— На вопрос анкеты об образовании Ежов отвечал: “Незаконченное низшее”.

— Демократы отобрали у коммунистов все привилегии и взяли себе.

Итак, несмотря на чисто историческое расположение материала, автор книги явно социологичен. Исследование юмористически окрашенных политических слухов, циркулирующих в обществе с начала XX века, оказывается уникальным социологическим источником. И вряд ли целесообразно изучать только официальную информацию, поскольку слухи — голос социальной группы, в данном случае интеллигенции. Иногда он усиленно соперничает со средствами массовой информации. И в тоталитарном обществе ему особенно доверяют. Именно поэтому Ю.Борев один из первых, кто практически открыл для социологов этот важный **систематизированный источник** формирования знаний.

Сам автор, однако, допустил, на мой взгляд, непростительную ошибку, определив совокупность исторических анекдотов, преданий и устных мемуаров как источников исключительно эстетического наслаждения и, значит, объект будущего изучения и филологической и исторической науки. Во всяком случае, риск вызвать серьезные возражения со стороны философов, социологов и юристов здесь несомненен. Предположим, что философы, шокированные напоминанием их собственной непростой истории, промолчат¹⁵³¹. Но каково юристам? Где же статьи Уголовного кодекса, квалифицирующие слухи в качестве преступления?

— За что сидишь?

— За болтливость: рассказывал анекдоты. А ты?

— *За лень. Услышал анекдот и думаю: завтра сообщу, а товарищ не поленился.*

Что касается рассказов из жизни самого социологического сообщества, то она вообще осталась без внимания автора. А она чрезвычайно многообразна и богата. Еще несколько лет назад в редакцию журнала пришел автор с объемной тетрадкой, полной сентенциями в адрес социологов. Так, анализ документов характеризуется следующим образом: “Поскольку любая бумага у нас “документ”, социологический анализ документов в наших условиях точнее было бы именовать социологическим анализом бумаг”. Собранные автором слухи подаются так: “В МГУ считают, что в ИСАНе занимаются профанацией социологии, в ИСАНе — что во ВЦИОМе, в Москве — что в Ленинграде, в Ленинграде — что в Минске и т.д. И наоборот”^[54]. Мой коллега Э.Фетисов также постоянно приносит профессиональные “хохмы”. Однажды, увидев на рабочем столе приглашение на встречу ленинградских социологов, он спросил: “Как долго они будут так стоять враскоряку?” (На бланке приглашения значилась тема встречи “Санкт–Петербургская школа: между прошлым и будущим”).

И все же наибольшие критические возражения по поводу книги можно ожидать от профессиональных историков, особенно тех, кто занят поисками источников в архивах и библиотеках. Документированная история всегда представляется читателю ценной, важной, а главное **истинной**. Но это совсем не бесспорное видение истории со стороны науки и научной достоверности. Ю.Борев доказывает это, вводя в оборот чисто ментальный элемент в изучении российской истории XX века. Сам автор называет интеллигентский фольклор средством самопознания общества, приведенного в соответствие политической обстановке, устной культурно–исторической формой воплощения социального опыта.

Согласно Ю.Бореву, в основе устного рассказа лежит исторический факт, причем степень соответствия правды и вымысла представляется неодинаковой. В одном случае он отражает реальность, в другом — аберрация в ходе неоднократной передачи приводит к большой разнице между фактом и его трактовкой. Но поскольку устный рассказ (анекдот, воспоминания, предания и т.д.) принадлежит художественному, а не историческому жанру, то отступая от факта, он приближается к его сути.

— *Сталин посмотрел “Отелло”. Руководство театра спросило его мнение. Он подумал и сказал: “А этот — как его? — Яго — неплохой организатор”.*

В доказательство своего утверждения Ю.Борев ссылается на слова Ноберта Винера, считавшего, что сообщение о вероятном информативно насыщеннее сообщения о случившемся. Так, например, в книге приводятся сведения о том, что после войны между Шолоховым и Эренбургом на национальной почве возникли напряженные отношения. Сталин счел необходимым вмешаться:

— *“Ваши евреи проявили трусость во время войны, а ваши казаки — антисоветские настроения и еще в гражданскую войну боролись с советской властью”. Взаимная неприязнь между писателями усилилась.*

В этой короткой заметке, не подтвержденной каким–либо письменным источником, тем не менее достоверность факта чрезвычайно велика. Этот вероятный разговор свидетельствует об историческом факте — нравах, царивших в писательской среде, и о силе неприязни Сталиным интеллигенции.

Значение ментальности истории, подчеркнутой Ю.Боревым, можно сравнить с аналогичными явлениями в литературе, подмеченными М.М.Бахтиным. Согласно взглядам

этого философа вторичные речевые жанры (роман, например) впитывают в себя то, что сложилось в условиях непосредственного речевого общения (бытовой рассказ, анекдот и др.). “Ведь язык входит в жизнь через конкретные высказывания (реализующие его), через конкретные же высказывания и жизнь входит в язык”^[55]. Подлинный автор, по Бахтину, — тот, кто восстанавливает первичное речевое авторство в культуре за счет вторичного и искусственного собственно писательского авторства, тот, кто раздаёт голоса их настоящим первоавторам, возвращая высказываниям их изначально коллективный характер^[56]. Если для Р.Барта при сравнении уровней речь идет о разрушении последнего голоса — голоса писателя–автора, о стирании последнего имени — его имени, то для М.Бахтина это прежде всего растворение вторичного авторства в реальном первичном (М.А.Рыклин). Ю.Борев в свете этих представлений избегает крайностей, он усиливает официальные источники за счет максимально широкой представленности именно неофициальности.

— *На могиле Канта во взятом с боем Кенигсберге красовались две надписи на русском языке. Одна предостерегающая: “Осторожно: памятник культуры”. Другая злорадная: “Ну что, теперь ты понял, что мир познаваем?”*.

Не знаю, специально ли Ю.Борев упомянул Канта, но идея приоритета критического разума перед “чистым” здесь чрезвычайно важна, поскольку под сомнение ставится официальная (так называемая истинная) история. Приведу размышления на этот счет М.Рожановского, специалиста в области философии истории. Последний считает, что сама человеческая потребность знать о мире приняла в европейской культуре форму такого познания, для которого историческая истина — самоцель. В нашей стране это выразилось в приведении порядка вещей в соответствии с порядком идей. “В таком логически последовательном варианте, — пишет он, — Истина уже не подлежит познанию, а становится синонимом небольшого набора идеологических символов. Чистый разум становится разумом идеологическим, абсолютно оторванным от Разума практического”^[57].

К месту будет еще одно событие, описанное Ю.Боревым:

— *Сталин встречался с авторским коллективом, работавшим над его жизнеописанием. “Я прочитал подготовленную вами рукопись, — сказал он. — Думаю, что вы, товарищи, допустили здесь ошибки эсеровского толка”. Члены авторского коллектива побледнели, а Сталин продолжал: “У вас получается, что в стране все решается и делается одним Сталиным. Но раз уж книга написана, не будем ее переделывать. Возьмите рукопись, я сделал в ней некоторые поправки”*.

“Сталин — ведущая сила партии и государства! — так звучала одна из этих поправок (с. 211).

“Устная юмористическая история”, разработанная Ю.Боревым, есть, по сути дела, история памяти. Автор не обрабатывает материал “научными” методами, а просто аранжирует его. Целостность, художественность, философичность истории при этом поднимается на высоту, кажется, не всегда доступную профессионалу–историку. Неясности и неточности, сопутствующие такому изложению, несравнимы с полнотой и глубиной проникновения в жизнь, отражения уникальности каждого человека.

ОЧЕРК ПЯТЫЙ

ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР: ФУНКЦИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И СПЛОЧЕННОСТИ

Все люди евреи, только не все об этом знают.

Бернард Маламуд

Утверждение, что юмор служит важным средством принадлежности к определенной группе считается естественным и подлинно социологическим. Юмор служит, по мнению социологов, не только метками границ какого-либо класса или слоя, но и средством интеграции внутри них и в то же время отделения друг от друга.

Но указанное положение требует необходимой конкретизации и доказательств.

Предварительно заметим — в той или иной группе используются различные маркеры для указания на идентичность с ней. Эти символы групповой идентичности — жесты, одежды, язык, прически, шутки работают как основной признак, с помощью которого члены группы распознают себе подобного и отделяют себя от других. Одно упоминание действующих лиц говорит о многом и обязывает к определенным поступкам. Иван, как правило, чрезмерно пьет, Канзюлис — резонерствует, Молла — ставит на место правителя, Смит неверно выполняет воинские команды, Хаим — парадоксально хитрит, Петр жадничает, Вовочка сквернословит. Сексуальные анекдоты, особенно “сальные”, вряд ли привлекут людей пожилого возраста, да и малолетние их могут не понять. Крестьянский фольклор особенно приятен специфической социальной группе, а профессиональные шутки — творческой интеллигенции. Существует точка зрения (А.Зиждервельд), согласно которой юмор среди различных отличительных культурных признаков групп стоит особняком, поскольку он наименее подвержен влиянию уравнилельных тенденций. И напротив, — определенная манера одеваться и жаргон, будучи отделенными от той культурной среды, в которой они зародились, могут использоваться только в социальном контексте.

Так, например, стиль и мода в качестве культурного стандарта в масштабах всего общества возникают там, где существует возможность изменения социального статуса и подражания одних групп другим посредством заимствования определенных культурных образцов^[58].

Группа и шутки

В случае с юмором это маловероятно, т.к. вне соответствующей культурной среды он в значительной степени утрачивает свой смысл.

Беседа двух астрономов:

— По моим подсчетам, новая комета пройдет около Земли через 1 миллион 645 лет и 3 месяца.

— Ты уверен? А то ведь над нами будут смеяться... Тогда позора не оберешься!

Специфическим представляется юмор в молодежной среде, армии, полиции, семье, религиозных сообществах, студенческих группах.

Только что прибывший на работу в колледж молодой преподаватель попросил своего старого и мудрого коллегу поделиться с ним опытом.

— Должен вам признаться, — сказал ему старик, — что практический опыт дал мне намного больше, чем теоретическое изучение педагогики. Вам наверняка придется встретиться с таким явлением, когда вы будете прилагать все свои усилия, чтобы доходчиво объяснить какое-нибудь положение своим студентам, но в группе обязательно найдется некий парень, который не будет с вами согласен. И вам тут же захочется взять его под нозоть и любым способом подчинить себе. Не делайте этого, ибо это будет скорее всего единственный человек, который вас внимательно слушал.

Разумеется, шутки, типичные для какой-либо социальной среды, могут иметь широкое хождение среди представителей разных групп. Так в СССР после неоднократного просмотра популярного фильма “Семнадцать мгновений весны” широкое хождение получили анекдоты про главного героя — Штирлица. Их циркуляция продолжалась свыше десяти лет и благополучно заканчивается лишь в последние годы.

Мюллер: Штирлиц! Вы еврей!

Штирлиц: Ну нет, я русский!

Особое положение, как это ни парадоксально, именно в силу своей типичности занимает так называемый “еврейский” юмор. Известно, что еврейские остроты, шутки, анекдоты, притчи, афоризмы часто рассказываются как в кругу самих евреев, так и в их окружении. Сами евреи придают им чуть ли не священный оттенок.

“... Две тысячи лет скитаний и преследований выработали у евреев способность выявлять комическое в любой ситуации и с иронией относиться ко всем без исключения формам и проявлениям жизни. Остроумие стало своеобразным оружием в руках безоружных евреев. Ведь ничто так не ослабляет опасного и сильного противника, как его осмеяние. Проходили века, положение евреев не менялось к лучшему, и крепла традиция еврейского юмора с его специфическим настроением, народным колоритом и характерной грустью...”^[59]

Другие этнические группы широко пользуются еврейским юмором. Но будучи перенесенными в другую среду, он зачастую меняет свое содержание и направленность. Если юмор внутри группы мягок, печален и полон самоиронии, то вовне он, благодаря новым интонациям, измененным ударениям и, возможно, жестам, может приобретать явные антисемитские черты. Иногда возникают и “псевдоеврейские” шутки с определенной направленностью и с ироническим смыслом.

Встречаются два еврея. Один расстроен и на вопрос “Что случилось?” сильно заикаясь рассказывает:

— Бы-бы...был на конкурсе на должность диктора телевидения. Неее пэ-пэ-приняли.

— Почему?

— И-и-из-за национальности^[60].

Внутри этноса это давно известно. Розенберг и Шапиро в исследовании еврейского юмора отмечали, что “шутки, которые евреи рассказывают друг другу о самих себе, совершенно отличаются по духу от шуток, которыми оперируют неевреи с антисемитскими побуждениями (даже если это одни и те же шутки)^[61]. Конечно, это характерно для юмора многих других этнических групп. Однако специфика в том, что сам еврейский юмор имеет оттенок критики идентичности евреев со стороны психоаналитиков, которые склонны

интерпретировать его как “ненависть евреев к самим себе”. В частности, в американо–еврейском юморе высмеивается болезненное отношение евреев к социальному статусу, в советско–еврейском — фанатическое желание выехать в Израиль. Замечено также, что большинство шуток подобного типа появляется именно в еврейской среде, а не в других этнических группах.

Отец в ужасе сообщает матери:

— *Я узнал, что наш Йося — гомосексуалист!*

— *Да? Но он хотя бы встречается с хорошим еврейским мальчиком?*

Еврейский юмор, как замечает А. Дрождинский, не довольствуется игрой слов и комизмом ситуаций, положений, хотя и тут прекрасно себя проявляет. Особенность его — в характерном показе еврейской судьбы, жизни и традиций. Сплошь и рядом обнаруживается самоирония, подтрунивание над участью “избранного народа”, над еврейским характером. Единственное, — утверждает автор, — чего напрасно было бы искать в еврейском юморе — это неприязнь к кому бы то ни было^[62]. Возможно, это и так.

Внутри же еврейского этноса в отношении социальногрупповой структуры юмор может выполнять как **демаркационную**, так и **нивелирующую функции**. В “вертикальной структуре” четко выражаются статусные различия с особенностями сознания и поведения.

Жили два брата. Один — профессор университета, другой вор. Понятно, первый избегал второго, как чумы. Однажды они все же столкнулись на улице. Профессор отвернулся и хотел пройти мимо, но брат окликнул его:

— *Одну минуточку! Что ты задираешь нос? Я бы еще мог себе это позволить — мой брат как–никак профессор. Но имея братом вора, чем, интересно, гордишься ты?*

Нивелирующая же функция состоит в просачивании культурных образцов “сверху вниз”, а также “снизу вверх”.

Как–то барон Ротшильд подал нищему милостыню.

— *Ваш сын дает мне вдвое больше.*

— *Мой сын может себе это позволить. У него богатый папа.*

Нивелировка, конечно же, относится не только к внутригрупповым различиям, но и территориально–государственным. Пример — шутки, широко распространенные в годы скоротечной египетско–израильской войны 1967 г.

Встречаются два советских еврея. Один говорит другому:

— *Ты слышал? Наши передавали, что наши сбили наш самолет...*

Или вариант:

В.Зорин на вопрос Киссинджера о национальности ответил:

— *Я советский. А Вы?*

— Я американский...

Антон Зиждервельд проанализировал несколько работ, посвященных указанной теме, и нашел, что самоосуждающий юмор не обязательно является результатом нестабильной идентичности. Когда меньшинство приобретает какую-то степень самосознания, юмор снова подчеркивает вновь приобретенную идентичность и таким образом усиливает сплоченность и единство этнической группы. В противовес своей точки зрения он приводит результаты Т.Рейка, проводшего психоаналитическое исследование еврейского юмора путем сравнения приписываемой евреям ненависти к самим себе с клинической подавленностью. Он утверждал, что в этих шутках акцент на неполноценность маскирует агрессивную тенденцию: симулируя слабость, причем делается попытка победить оппонента или противника. Эти шутки, в ницшеанских терминах, могут явиться выражением чувства обиды и рабской морали. В свою очередь С.Ландманн утверждает, что типично еврейские шутки, возникшие в эпоху Просвещения — период, когда многие евреи стали постепенно отходить от своих религиозных традиций и утрачивать духовное наследие, — не могут переноситься на современность без определенных оговорок. Многие шутки евреев были вызваны к жизни двусмысленностью и напряженностью их существования, и хорошо известное остроумие Генриха Гейне выступает как модель подобного вида юмора.

Упомянутые выше Розенберг и Шапиро развивали сходную гипотезу в отношении американско-еврейского юмора и остроумия. Согласно этим авторам в прошлом американские евреи часто ненавидели самих себя за недостаточную ассимиляцию в американскую культуру, но затем это трансформировалось в чувство вины из-за слишком глубокой ассимиляции и секуляризации:

“Точно так же, как когда-то мы ненавидели себя за то, что перестаем ими быть. Когда-то объектом насмешек и презрения со стороны эмансипированных европейских евреев был еврей из гетто, отсталый и бедный. В настоящее время в Америке объектом отвращения стал преуспевающий, действительно богатый и чопорный еврей, в одиночку накапливающий материальные ценности и глубоко им преданный”.

Розенберг и Шапиро иллюстрируют это на примере анекдота о трех еврейских женщинах, хвастающихся за чаем карьерой своих сыновей. После того, как две из них рассказали о материальном успехе сыновей, третья робко поведала о своем сыне, который стал раввином с очень скромным жалованием. На это ее подруги воскликнули: “Ну разве это работа для хорошего еврейского парня!” Подобно Ландманн, Розенберг и Шапиро объясняют присутствие навязчивой идеи идентичности в еврейском юморе неопределенностью положения евреев в современном мире. Современный еврей находится в постоянном движении “меж двух огней”: между ассимиляцией к современному миру и лояльностью к традициям и исконным ценностям еврейства^[63].

Это можно показать на примере юмора черного населения в США. Миддлтон в социологическом исследовании реакций негров и белых на расистские шутки в 1950-е гг. обнаружил, что негры в большинстве своем реагируют на шутки, направленные на белых, более благосклонно, а кроме того, испытывают такое же удовольствие от шуток, направленных на них самих, как и белые^[64]. Этот вывод согласуется с данными более раннего исследования, проведенного со студентами колледжа, в котором было показано, что негры в большей степени используют шутки против самих себя, чем белые. Эти исследования проводились в то время, когда ассимиляция рассматривалась как нормальное явление, а типичным поведением негров считалось поведение в стиле “Дяди Тома”. Ситуация радикально изменилась в 1960–1970-е гг. — эмансипация черного населения более не рассматривалась в терминах ассимиляции к белому большинству. Самосознание негров

достигло определенного уровня развития, вследствие чего групповая идентичность негритянского меньшинства приобрела достаточную силу. Как результат, негритянское население перестало мириться со стереотипными шутками на свой счет, и подобный юмор стал считаться оскорбительным^[65].

Самоосуждающие шутки не следует опрометчиво интерпретировать как выражение ненависти к самим себе. Наоборот, они могут служить признаком весьма сильного чувства групповой идентичности, т.к. смех, который они вызывают, вовсе не того свойства, который, например, возникает, когда белые смеются над черными. Напротив, это смех, в котором проявляется самосознание и гордость за принадлежность к данной этнической группе. Вспомним “юмор висельников”, содержащий в себе чувство превосходства, которое наблюдается во многих еврейских, казалось бы, самоуничижительных шутках. На скамье подсудимых Радек признался, что лживыми показаниями, запирательствами и обманом он мучил самоотверженных следователей НКВД, этих исполнителей воли партии, защитников народа от его врагов, чутких и гуманных друзей арестованного. Гротьян писал по сходному случаю: “В еврейской шутке поражение на самом деле означает победу. Подвергающийся гонениям еврей, который шутит на свой счет, отклоняет тем самым проявления опасной враждебности от своих преследователей на самого себя. Результатом является не поражение, а победа и величие”^[66].

Интересным свойством этнических шуток является их универсальность — они существуют в самых разных странах, но по содержанию в целом сходны. Эти шутки обычно высмеивают: 1) печально известную недалекость членов данной этнической группы; 2) их ограниченность и скаредность; или 3) их чрезмерную или слабую сексуальную активность. В работе Кристи Девис содержится идея о том, что всеобщую популярность этих шуток следует объяснять, исходя из анализа характеристик индустриального общества в целом, а не в терминах специфических условий конкретного, отдельно взятого общества^[67]. Известно, что в мире доминируют западные постиндустриальные страны. Социальные, географические и моральные границы в какой-то мере утратили свою определенность. По всей видимости, шутки этнического характера на первом этапе служат целям восстановления определенной степени ясности, в которой есть большая потребность, а затем функционировали как своеобразный механизм управления поведением людей. Именно поэтому насмешкам подвергались “аутсайдеры”, т.е. люди, которые явно или неявно находились на “периферии” по отношению к основной популяции, а также те, положение которых неоднозначно. Тем самым устанавливались границы между “мы” и “они”. Девис пишет, что большинство этнических шуток вращается вокруг темы “успех–неуспех”: герои этих шуток обычно глупы (знания) и скупы (мораль), и таким образом тот, кто рассказывает подобные шутки, предстает в более выгодном свете. Можно было бы добавить сюда третий компонент — сексуальность, т.к. герои этнических шуток обычно высмеиваются за свое ханжество, чрезмерную или недостаточную сексуальность. Девис анализировал ситуацию в восточноевропейских странах, находившихся под властью тоталитаризма, бюрократии и косной морали. В этом случае понятие “они” подразумевает не этническое меньшинство (хотя этнические шутки имеют хождение и в этих странах), а политическую элиту и государственную бюрократию. Автор проводит различие между двумя категориями стран (западных индустриальных и восточноевропейских) и обществом в ситуации войны, в шутках которого место глупости и скупости, характерных для мирного времени, занимает трусливость. Девис приводит в заключение своей работы следующее:

“На вопрос “Какова социологическая основа привлекательности этнических шуток?” мы можем ответить так:

1) эти шутки устанавливают социальные и географические, а также моральные границы

нации или этнической группы. Шутки по отношению к группе, имеющей неопределенный статус, в некоторой степени нивелируют эту неопределенность, более четко очерчивают ее границы или по крайней мере делают существующую неопределенность статуса менее заметной.

2) шутки, появляющиеся в противоборствующих группах, отражают проблемы и тревоги, вызванные конфликтующими нормами и ценностями; конфликт их неизбежен в больших сообществах, в которых доминируют отчужденные от личности институты, такие, как бюрократия и др. Шуткам, появляющимся в мирное время насчет “недалеких” и “скупых, норовящих обмануть” социальных групп, и шуткам насчет “трусливых” и “милитаристски настроенных” групп, возникающих в военное время, присущи три характерные черты:

(а) они снижают чувство тревоги по поводу возможной личной неудачи во взаимодействии с государственными структурами из-за того, что не достигнуто правильное равновесие между конфликтующими нормами и целями;

(б) они показывают, по отношению к чему существуют моральные ограничения, каково правильное равновесие и тем самым снижают неопределенность ситуации;

(в) они узаконивают положение индивида как в отношении тех, кто потерпел неудачу, так и в отношении тех, кто был более успешен во взаимодействии с государственными структурами, в ситуации войны или мира”^[68].

Примерно такие же изменения претерпевает еврейский юмор в России. Ввиду изменившегося за последние годы положения российских евреев обычные шутки стали реже. Кроме того, в России нашлось множество этносов, смех над которыми может выполнять те же функции. Насмешкам подвергаются другие аутсайдеры, т.е. люди, находящиеся на окраине основной популяции.

Летят на самолете два депутата в Совете Федерации от Чукотки.

— Однако, слушай, мы, кажется, летим не в качестве официальных лиц?

— Почему?

— Если бы был правительственный самолет, то справа и слева должны быть, однако, мотоциклисты.

Интересным качеством этнических шуток относительно людей, находящихся на периферии, является их общее свойство. Одно из них — непроходимая глупость или, в крайнем случае, недалекость. Причем учитывается не только географическая близость (белые американцы — негры, эстонцы — русские, русские — чукчи, азербайджанцы — армяне), но и значительная отдаленность. В американском юморе почему-то принято восхищаться умом поляков, сексуальностью негров, честностью латиноамериканцев.

С учетом ума и морали высмеиваемого этноса тот, кто шутит, несомненно, предстает в более выгодном свете. Особенно это заметно в период войн, где объектом шуток и злословия служит не столько глупость, сколько трусость на поле боя.

Обер-ефрейтор заметил, как перед атакой рядовой Мильх трясется от страха.

— Ты чего трясешься, как последний трус? — набрасывается на него обер-ефрейтор.

— Я трясусь не за себя, господин обер-ефрейтор, — промямлил тот. — Я трясусь за противника, который еще не знает, что храбрый солдат Мильх уже готов показать ему свою отвагу^[69].

Известно, что традиции изучения судеб еврейского этноса существуют давно. С некоторых пор он развивается и в русской литературе. Поэтому естественно, что осмысление проблемы “русские — евреи” сопровождается попытками отыскать истоки в прошлом.

Перефразируя известную формулу Достоевского «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”», в данном случае исследователи могли бы добавить «И из гоголевского “Тараса Бульбы”». Как известно, в этом произведении Н.В.Гоголя реалистическая сатира пробивала себе дорогу в рамках поэтической романтики. С героем повести Тарасом Бульбой, написанного в духе романтизма, происходят некоторые странные вещи, в его жизнь вторгается нечто противоположное, нечто чрезмерно реалистическое. Олицетворяется это евреем Янкелем. Сатирический образ Янкеля был использован автором в целях глубокого реалистического изображения существовавших тогда норм и ценностей.

Именно в “Тарасе Бульбе” Гоголя использован сатирический прием, заключающийся в парадоксальном противопоставлении и объединении судеб козака и еврея. Спасший когда-то Янкеля от расправы в Сечи и нуждаясь в посторонней помощи, Бульба обращается к еврею явно не только по этой причине.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горзд на выдумки. А вы, жида^[70], на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете: вы знаете все шутки; вот для чего я пришел к тебе!

Несколько позже, снова умоляя помочь ему в освобождении своего сына, Бульба повторяет настойчиво тот же тезис —

— Вы все на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского; и пословица уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть.

Гоголь отказывается от какой-либо идеализации Янкеля и его окружения, он разделяет бытующие тогда взгляды.

— Он (Янкель) уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхло, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силится подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

Итак, Гоголь, так же как и его герой, не может обойтись без еврея, предварительно какими бы отрицательными свойствами характера не наделив его. Олег Дарк, рассматривающий нынешние произведения в статье “Еврейский парадокс”, высказывает интересную мысль. По

его мнению, с которым можно согласиться, еврей — любимый герой русской культуры. Бытовой, разговорной, но и письменной тоже. В этом смысл русского антисемитизма. В непротиворечиво сочетающихся представлениях о еврейской изворотливости и — одновременно — хилости, слабости, то есть непригодности, всегда таится восхищение: неподобностью, противопоставленностью (русский культурный герой традиционно тратит на это лучшие силы, а тут дается даром), но и вживаемостью — протеизмом, который русской культуре хотелось бы приписать себе.

Дарк вспоминает героя-изгоя, спасителя Гуревича из “Вальпургиевой ночи” Венедикта Ерофеева. А вот Ирина (роман “Русская красавица”) как-то удивилась: как можно жить в Израиле, где одни сплошные евреи? Из несколько наивной этнографии совершенно справедливо выводится: еврей должен быть в меньшинстве, еще лучше — в одиночестве^[71].

На уровне общенациональных отношений ситуация остается примерно одинаковой, хотя обе стороны постоянно ставят имеющуюся общность под сомнение. В той же повести Гоголя погром начинается тогда, когда в напряженной, чреватой взрывом обстановке возник разговор о равенстве.

— Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не снюхивались с неприятелем. А католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами, как братья родные...

— Как? чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жида! В Днепр их, панове! Всех потопить поганцев!

Эти слова были сигналом.

Чувствительность этносов бывает на редкость высока. Читатель сможет убедиться в этом, прочтя текст так называемой полемики между В.Радзишевским и Э.Кияном. Последний — редактор переиздания книги Л.П.Сабанеева “Рыбы России” (изд-во “Физкультура и спорт”, 1993 г.), восстановил из дореволюционной книги пару фраз, задевающих тогдашних евреев.

В.Радзишевский отреагировал заметкой под названием “Физкульт-ура!”:

“Но грянула перестройка, проклюнулась гласность, восторжествовала свобода печати — и “Рыбы России” опять явились на свет. Правда, на скверной бумаге, конечно, на клею, понятно, без суперобложки. Но зато и без проклятых купюр. Читайте и оттягивайтесь: “Особенно ценится щучье мясо евреями, а потому за последнее двадцатилетие оно сильно поднялось в цене, как в Москве, так и везде, куда распозлзлась эта клопоподобная нация. Замечательно, что Донская область — единственная в России страна, застрахованная от еврейского нашествия, — вместе с тем единственная местность, где щука считается поганю и никогда и никем в пищу не употребляется”.

Книга выпущена, как и в прошлый раз, издательством “Физкультура и спорт”, год издания — 1993-й.

Физкульт-привет, ребята! Здорово вы их ущучили наконец, этих объедал. Пусть теперь сами попляшут, как на сковородке. Пусть побьются жабрами об лед. Пусть поболтаются на стальном крючке живодерского остроумия.

Лишь бы текстология не пострадала”^[72].

Э.Киян подхватил брошенную перчатку и опубликовал свою (“Тов. В.Радзишевский тоскует по урезанию”):

“Да, знаменитый русский рыболовно–охотничий автор, охотовед, журналист и издатель Леонид Павлович Сабанев не очень, мягко говоря, благопристойно, хотя и походя, высказался о евреях в России. Но это факт его биографии, черта его мировоззрения, и пусть он является на суд потомков со своим подлинным лицом, а не с тем приглаженным и напомаженным иконописным ликом, по которому так тоскует тов. В.Радзишевский. Кстати, с книгой Л.П.Сабанеева были знакомы многие известные и вполне уважаемые люди — от А.П.Чехова до В.А.Гиляровского — и ничего, не писали возмущенных писем не только в прессу, но даже друг другу, а совсем наоборот — восхищались: не этими восстановленными местами, конечно, а книгой в целом. Так что не все было так уж безмятежно в той самой России, которую потерял Станислав Говорухин.

И еще одна застойная привычка тов. В.Радзишевского — отнесение одних жизненных явлений по ведомству Юпитера, других — по ведомству Быка. Не могу поверить, чтобы В.Радзишевский, кроме рыболовной литературы, не читал больше ничего — ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя... Иначе как понять, что тов. В.Радзишевский ограничился физкульт–приветом, не послал, скажем, литературно–художественный поклон издательству “Художественная литература”, которое осмеливается (и неоднократно!) издавать без купюр пушкинского “Скупого рыцаря” (“Да знаешь ли, жидовская душа, Собака, змей! Что я тебя сейчас же На воротах повешу...”). Почему оставил без научно–академического салюта издательство “Наука” за то, что в “Тарасе Бульбе” не только не купирована речь приземистого казака (“И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе... Уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз...”), но и оставлена в неприкосновенности вся сцена расправы запорожцев с торгошами–евреями (“Переवेशать всю жидову!” и т.д.). Да только ли они!

Что же не ублюди, товарищ В.Радзишевский?

Урезать — так урезать!”^[73]

Более или менее объективный читатель найдет текст дискуссии довольно комичным. Это становится особенно заметным при анализе данных, полученных Всероссийским Центром Изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 1992 году. Само исследование, посвященное отношению к евреям населения бывшего Советского Союза, обнаружило массу любопытных ответов, суть которых в преобладании чувства терпимости, тотальное же неприятие евреев по–прежнему свойственно меньшинству^[74]. На вопрос “что бы вы сказали по поводу освещения проблемы положения евреев в нашем обществе в газетах и на телевидении?” затруднилось ответить 40,9%, отрицали появление материалов о проблемах евреев в СМИ — 22,3%, удовлетворены материалами — 22,7%, считают, что материалы выгодны евреям 6,7%, считают их антиеврейскими — 2,6%, говорится пренебрежительно, как и о других малых народах — 4,6%^[75]. И вряд ли в подобных условиях есть необходимость обострения проблемы со стороны заинтересованных сторон.

ОЧЕРК ШЕСТОЙ

ЮМОР: ФУНКЦИЯ КОНФЛИКТА

Роль юмора в качестве способа предупреждения и ослабления межличностного конфликта является общепризнанной. В своем учебнике по социологии Н.Смелсер, касаясь ролевых конфликтов в семье, создающих напряженность, с уверенностью называет любую шутку реальной возможностью “выпустить пар”^[76]. В рамках же модели межличностного взаимодействия юмору и смеху многими приписывается набор таких целительных средств, которому мог бы позавидовать любой фармацевт. Отсутствие эмпирических исследований в этой области отнюдь не опровергает эту точку зрения.

Еще раз о З.Фрейде

Зигмунд Фрейд был одним из первых исследователей, рассмотревших юмор в качестве защитного средства.

“Защитные процессы, — пишет он, — являются психическими коррелятивами рефлекса бегства и преследуют цель: предупредить возникновение неудовольствия. Затем они служат для душевной жизни автоматическим регулятором, который, в конце концов, оказывается, конечно, в чем-то ущербным для нас и должен поэтому подвергнуться подавлению со стороны сознательного мышления... Юмор может быть понят как высшая из этих защитных функций”^[77].

Объясняя место шутки, каламбура в логике неврозов, Фрейд считал, что следующий за ними смех разряжает напряженность, созданную ограничениями со стороны социальных норм. Такая разрядка вызывает чувство удовлетворенности, хотя бы и временное, у участников конфликта и способствует разрешению проблем.

Любой человек, контактируя с другими, как правило, стремится сохранить свой образ, поддержать свой престиж. Признание последнего со стороны других лиц является такой потребностью, которая стимулирует активность поведения. Читатель наверняка знает из своего опыта, что рассказчик анекдотов никогда не довольствуется самим рассказом. Признание компании, если, конечно, оно состоится, приносит рассказчику не сравнимое ни с чем удовлетворение.

Положительная оценка шутника оказывается необходимым стимулятором пусть краткой, но весьма положительной активности. Умело и вовремя рассказанная история выполняет и уже упомянутую защитную функцию. В любом случае рассказчик имеет реальную возможность разрядить напряженность в межличностных отношениях. “У всякого глупца хватает причин для уныния, и только мудрец разрывает смехом завесу бытия” (И.Бабель).

Межличностное сотрудничество во многих случаях связано со взаимопомощью между людьми. Помимо сотрудничества, связанного с получением материальных выгод, существуют и другие его виды, например, сотрудничество, мотивированное потребностью в самоутверждении, а также в дружеской поддержке. На такие виды сотрудничества, на наш взгляд, юмор и смех воздействуют в качестве весьма эффективных “скрепок”.

На психологическом уровне конфликта утверждение о полезности юмора и смеха подтверждается жизненным опытом многих поколений. “Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от желания Вас повесить”, — повторим утверждение Бернарда Шоу. Юмор и смех, как правило, ведут к сублимации конфликта. Разумеется, сублимация — не решение

конфликта, поэтому риск его эскалации остается. Но острота ситуации, несомненно, ослабевает.

Трансактный метод Э.Берна

Эрик БERN, автор теории так называемого “трансактного анализа” (ТА), был неудовлетворен результатами классического психоанализа. В частности, он сделал попытку ухода от непонятной пациенту “научной” терминологии путем создания единого языка как для специалистов, так и для клиентов. Введя слэнг в текст, сделав его разговорным, БERN стал понятен даже для детей восьмилетнего возраста.

Краеугольным камнем ТА считается трехчленная схема анализа (Родитель — Взрослый — Ребенок), основанная на “феноменологических реальностях, а не на умозрительных конструктах”.

В рамках настоящего исследования нет необходимости подробно и системно рассматривать взгляды и достижения Берна^[78]. Но один из разделов книги содержит идеи относительно роли юмора при его практическом применении ТА. Автор прежде всего замечает:

“...нет никаких подтверждений того мнения, что серьезность в психотерапии ведет к более явному или быстрому клиническому улучшению состояния пациента. Не только архаическая часть личности пациента — его Ребенок — верит в то, что психотерапевт — волшебник и маг, но и сам психотерапевт нередко склонен разделять эту веру, а каждый маг знает, что лучше не смеяться в процессе своего колдовства. В виде исключения допускаются лишь определенные ритуальные шутки, предписываемые той или иной ситуацией. Поэтому терапевтическая серьезность может становиться своего рода folie a deux (безумство вдвоем), которое присутствует в некоторых видах психотерапии, но не согласуется с рационалистическим подходом. Трансактный аналитик, хорошо сознавая биологическую и экзистенциальную функцию юмора, без колебаний использует его. Он только должен непременно уметь различать смех Родителя, Взрослого и Ребенка, а это не всегда легко. Смех Родителя — снисходительный или насмешливый. Смех Ребенка в ситуации лечения — непочтительный или торжествующий. Смех Взрослого в терапии — это смех инсайта, он возникает из абсурдности обстоятельств, породивших его проблемы, и еще большей абсурдности самообмана.

Смех в группе трансактного анализа аналогичен смеху пассажира такси в Токио. Первая кошмарная поездка в означенном транспортном средстве предоставляет потрясенному пассажиру три возможности: бороться за сохранение своего самообладания (что вряд ли имеет смысл); или же съезжившись от страха, забиться в угол; или же смеяться. Те, кто смеются, добираются до пункта своего назначения с той же скоростью, что и все прочие, но они имеют два преимущества. Во-первых, они получили большие удовольствия от поездки, а во-вторых, им будет не так скучно рассказывать о ней.

Терапевт должен помнить, что хотя смерть — это трагедия, все же жизнь — это комедия. (Более того, смерть — не всегда трагедия для того, кто умер; она может иметь трагические последствия лишь для оставшихся в живых.) Любопытно, что многие пациенты переворачивают этот драматический принцип и относятся к жизни как к трагедии, а к смерти — как к комедии. Терапевт, который соглашается с ними, соглашается тем самым играть свою роль в этом.

Согласно экзистенциалистам человек всю свою жизнь находится в затруднительном

положении; даже приверженцем других философских систем приходится признать, что и они проводят в затруднительном положении большую часть своей жизни. Биологическая ценность юмора с точки зрения выживания состоит, коротко говоря, в том, чтобы доставить человеку шанс прожить свою жизнь с максимально возможной при данных обстоятельствах эффективностью. Поскольку большая часть психогенных проблем вытекает из всякого рода самообманов, юмор Взрослого наиболее уместен в ходе психотерапевтической работы”^[79].

Теорию ТА в определенной степени дополняют исследования психологов и физиологов эффекта улыбки как для самого улыбающегося, так и для окружающих. Они пришли к выводу, что далеко не всегда улыбающийся находится в прекрасном расположении духа. Эта улыбка может выражать и притворную радость (“дежурная” улыбка), которая не дает прилива энергии.

Установлено, что лишь одна из примерно 16 улыбок способна стимулировать положительные эмоции. Доктор Эркман, ученый из Калифорнийского университета, считает ее той, которая заставляет нас щурить глаза, когда мы лишь слегка посмеиваемся. “С точки зрения физиологии она совершенно отличается от других улыбок, скажем, от той, которой пользуются люди взамен слова “у–гу”, когда хотят показать, что они слушают собеседника, или улыбки, с помощью которой хотят сгладить впечатление от только что произнесенных резких слов. Указания, которые получили участники эксперимента, были предельно просты: скулы поднять, рот приоткрыть, уголки губ приподнять. Такое выражение лица называется “улыбкой Дюшена”, по имени французского невропатолога Дюшена, который в 60–х годах прошлого века первым исследовал работу более чем 100 мускулов лица. Для того чтобы привести в движение каждый из мускулов, он использовал электрический шок, причем пациент не чувствовал боли.

Главные отличительные особенности улыбки Дюшена, которые выделяют ее среди других улыбок, — это собранные в складки морщины вокруг глаз и слегка опущенные веки, в результате чего кожа над глазами сдвигается вниз в направлении глазного яблока.

Лишь улыбка Дюшена вызывает повышенную мозговую деятельность, в первую очередь, в левой передней части коры головного мозга, где, как показали предыдущие исследования, расположены центры управления положительными эмоциями.

Однако, как заявил д–р Ричард Дэвидсон, психофизиолог из Университета штата Висконсин, пробуждение чувства удовольствия связано с еще одним мозговым изменением (которое не имеет места при улыбке Дюшена) — увеличением активности левой префронтальной части коры головного мозга.

В эксперименте использовались для оценки деятельности мозга компьютеризованные изменения излучаемых мозгом волн, в то время как его добровольные помощники пытались изобразить улыбку Дюшена или другие виды улыбок.

Хотя искусственно воспроизведенная улыбка Дюшена не вызывает тех мозговых изменений, которые обычно возникают при естественной улыбке, тем не менее, по мнению Дэвидсона, определенные движения лица способны поднять настроение, хотя и не дают ощущения полного счастья. “При этом люди смогут увидеть мир в лучшем свете, найти в нем что–то приятное”, — считает д–р Дэвидсон.

Разные люди по–разному реагируют на предлагаемую им игру в “выражения лиц”.

Так одна из женщин, участвовавших в эксперименте, “разрыдалась, когда мы попросили ее придать лицу печальное выражение”^[80].

Групповой конфликт

Функции юмора также заключаются в идентификации — процессе отождествления себя с другим человеком, группой. Эмоциональная солидарность с другими способствует усвоению моделей социального поведения, осуществляемого группой, принятию ее норм и ценностей. Шутки и остроты внутри группы обычно способствуют ее сплочению, но также являются и признаком сплоченности. В профессиональных группах идентификация происходит не только по вертикали (начальник — подчиненный), но и по горизонтали (большинство — меньшинство, инженеры — служащие, квалифицированные — неквалифицированные рабочие и т.д.). При напряженности между отдельными людьми, принадлежащими к разным группам, также между самими группами официальные (формальные) отношения могут быть изменены под воздействием юмора в ту или иную — большей частью положительную — сторону. Результатом может быть переосмысление сложившихся отношений, приводящее к созданию “моста” между соперничающими группами. Однако в условиях открытого конфликта стороны обычно страшатся юмора и сатирических интенций, видя в них для себя угрозу или оскорбление.

При напряженности, не приводящей к конфликту, функции юмора более разнообразны и расплывчаты. В иерархических структурах работники, стоящие наверху служебной лестницы, используют его для доказательства превосходства. Юмор подчиненных более асимметричен. Его критичность по отношению к начальникам очевидна; в то же время он служит препятствием для агрессивного поведения и представляет собой отдушину для накопившегося раздражения. Иллюстрацией “управленческого юмора” служат известные “Законы” Мерфи, Паркинсона, Питера^[81].

Шутки “по вертикали” “снизу–вверх” фиксируют внимание на глупости начальника, его необразованности, низкой культуре.

Начальники используют юмор “по вертикали” с целью осуждения промахов подчиненных. Такого рода остроты и шутки обычно не только интегрируют группы, но и устанавливают границы этих групп. Обмен ролями между представителями этих групп может носить гротесковый характер.

Двойственную функцию играет юмор и смех в необходимой смене лидеров. Как уже отмечалось выше, принижение их роли всегда было целью таких проявлений юмора, как политические карикатура, анекдот, сатира. Именно по этой причине в тоталитарных обществах на подобное творчество существует безусловный запрет, подкрепляемый даже уголовной ответственностью. В переходных или демократических обществах ситуация складывается несколько иначе.

Обычно на смену политикам, играющим на классовой или национальной нетерпимости, как правило, приходят лидеры согласия. Это происходит чаще всего на фазе “затихания” конфликта.

Было бы неверным, конечно, оценивать юмор в качестве средства, исключительно смягчающего конфликт. Это замечено на этнических шутках, подчас обостряющих отношения; они встречаются в разных странах, но обычно имеют сходное содержание. А.Зижервельд считает, например, что они выражают: 1) воображаемую глупость

осмеиваемой этнической группы; 2) ее скупость; 3) ее сверхсексуальность, или напротив, импотентность^[82].

Некоторые исследователи считают наши шутки своеобразной реакцией на сближение и перемешивание этнических групп в индустриальных обществах. В этих обществах социальные, моральные и географические границы становятся не так заметными и этнические шутки, анекдоты призваны восстановить необходимую дистанцию, создав элементы контроля над национальным меньшинством (или большинством) населения. Таким образом поддерживается дистанция между “нами” и “ими”. В подобных шутках в той или иной мере проявляются плохо скрываемые националистические чувства, ненависть и злоба, а также сознание собственного превосходства. В бывшем СССР наиболее распространенными были анекдоты и остроты об армянах, чукчах, евреях; в США — о неграх, поляках, латиноамериканцах и др.

Агрессивная напряженность такого рода юмора бывает не всегда очевидна. Многие анекдоты, в частности, оставляют возможность для различного рода их толкования. Более того, “межнациональные” шутки особенно в период напряженности чаще всего перефразируются и используются национальными меньшинствами уже с новым, противоположным смыслом.

Заканчивая размышления о двойственном характере влияния юмора на протекание конфликта, заметим, что на макроуровне он может выступать в качестве катализатора самого конфликта. При отсутствии эффективных социальных амортизаторов юмор может служить признаком дискомфорта в отдельных социальных группах^[83]. Кроме того, в конфликтующем обществе, переживающем период кризиса, государство особенно рьяно борется доступными ему средствами с тем юмором, который подрывает господствующую идеологию, высмеивает его лидеров. В этом также проявляется двойственность отношения к юмору и смеху как одному из средств предупреждения и разрешения конфликтов.

ОЧЕРК СЕДЬМОЙ

ДЕТСКИЙ АНЕКДОТ: ФУНКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Широко распространенное в научной литературе мнение о начале усвоения политического опыта детьми со школьных лет вряд ли справедливо. Среди агентов социализации родители, справедливо считающие политическое образование в раннем (с 3 до 7–8 лет) возрасте преждевременным, своими реальными поступками, не сознавая того, своеобразно воспитывают его:

Мальчик увидел на детском сеансе кино, как индейцы красили лица, и спросил отца, почему они это делают.

— *Готовятся к войне!*

Вечером малыш подбегает к отцу:

— *Папа, бежим отсюда, мама готовится к войне!*

(Канад.)

При оценке шуток такого рода, однако, следует иметь в виду следующие важные отличия детского юмора. Первое — дети специально и преднамеренно не шутят. Если они пытаются это делать, то кроме неловкости и конфуза у окружающих нарочитые шутки вызвать ничего не могут. И второе, — существует необходимость строгого отделения шуток детей от шуток о детях или детских шутках, выдуманных взрослыми. Иллюстрацией последнего отличия служат так называемые “национальные” шутки.

Маленький Зяма:

— *Папа, я хочу быть русским.*

— *Кем–кем?*

— *Русским.*

— *Значит так — выйди из–за стола, иди к себе в комнату и сиди до тех пор пока не передумаешь!*

Через час отец заходит в комнату сына.

— *Ну как, еще не передумал?*

— *Подумать только! Всего какой–то час я русский, а уж от этих жидов натерпелся!!!*

(Еврейск.)

Что касается так называемого детского “черного” юмора, то авторство взрослых вообще не вызывает сомнения.

— *Дети играли в Сашу Ульянова.
Бомбу бросали в машину Лукьянова.*

Или следующее:

В поле нейтронная бомба лежала,

Девочка тихо на кнопку нажала,

Некому выручить девочку эту:

Спит вечным сном голубая планета^[84].

Анекдоты, незримо сопровождая нас с самого раннего детства, в известном смысле являются агентами социализации общества, состоящего из потенциальных рассказчиков и слушателей анекдотов. О том, что дети любят шутить и рассказывать анекдоты, знает, пожалуй, каждый взрослый человек. Многие родители помнят тот день, когда их 4–5–летний малыш впервые произнес заветные фразы: “Пап, рассказать тебе анекдот?”, “Хочешь послушать хохму?” Кого–то из родителей это умилило, кого–то удивило, но в целом было воспринято так естественно и обыденно, что особых беспокойств не вызвало, разве что некоторые мысли типа: “Чего бы дурного не нахватался в этом садике...” Ну, а когда ребенок пошел в школу и вернулся в первый же день с вопросом к родителям “А вы знаете, что пиписка называется совсем другим словом?” — считайте, что его детство закончилось благополучно.

Детские анекдоты, что знают все дети во дворе, долгое время оставались за пределами исследовательского интереса социологов. И дело здесь не столько в сложности работы с детским (дошкольным) возрастом, сколько в бытующем среди ученых мнении о ненужности, незначимости такого рода информации. Лишь сравнительно недавно наметился некоторый ренессанс в освоении “мира детей”, ученые наконец–то начали преодолевать в отношении детской устной традиции своеобразный “барьер тривиальности”. Появились публикации М.Осориной, М.Новицкой, С.Тихомирова, Л.Успенского, С.Борисова и др., посвященные отдельным жанрам детского и подросткового фольклора. Однако эти авторы не касались политической темы детского фольклора. В целом же “мир детства” по–прежнему остается наименее разработанным пластом социологической науки.

Сегодня говорить о едином и непротиворечивом методе изучения детского политического фольклора еще не приходится. Речь, по сути, идет пока лишь о конституировании самой проблематики. Мы же, учитывая особенности детского возраста и предмета исследования, опирались главным образом на социогуманитарные подходы в традиции “понимающей социологии”. Сбор информации осуществлялся с помощью индивидуального глубинного интервью в обычных детских садах Екатеринбурга на протяжении последних пяти лет. Доверительное общение с детьми снижало ограничения “взрослой” цензуры. Это давало возможность зафиксировать материал о “запретных” темах, которые, как представляется, составляют значительную часть реально бытующих детских текстов.

Целенаправленно изучая дошкольную среду с точки зрения наличия у детей политических стереотипов, смыслообразов и мифов, мы заметили, что дети, начиная с 3–4–летнего возраста, способны воспринимать и эмоционально оценивать те или иные политические события, факты, персоналии. Более того, в этом возрасте они способны к индивидуальной интерпретации отдельных символично–политических феноменов: политический лидер, национальный флаг, образ врага, образ Родины и т.д. К 6–7 годам политические стереотипы и мифы приобретают у детей очерченную и устойчивую форму, некоторые из них детям предстоит пронести в своем сознании через многие годы.

Неформально общаясь с детьми, мы столкнулись с особым феноменом политической культуры, который можно условно назвать латентной. Политическая культура детей не

санкционирована взрослыми, не претендует на обнародование, а попросту бытует, живет своей жизнью, по собственным законам и спонтанно воспроизводится во всяком детском сообществе. На вербальном уровне она предстает в детских устных рассказах о событиях политической жизни общества (это могут быть и доверительные беседы с исследователем, и комментарии по поводу увиденного на телеэкране) в детском фольклоре, главным образом в политических анекдотах.

В прошлом веке слово “анекдот” означало обычно приключившееся с кем-то подлинное происшествие. Современный анекдот — чаще всего вымышленный комический случай, остроумная модель реальных отношений. В разнообразной палитре детских анекдотов наряду с неизменными чебурашками, крокодилами Генами, обезьянками, королями и проч. особое место занимают анекдоты, где главными действующими лицами выступают политические события и персонажи. Поэтому назовем эти анекдоты политическими. Обычно они начинаются так: “Раз Ельцин поспорил с Горбачевым...”, или: “Встретился Ельцин с Лениным...”, или: “Приходит Гитлер и говорит...”. О прочности и живучести жанра детского политического анекдота свидетельствует хотя бы тот факт, что он встречается в любом коллективе дошкольников. Правда, детей-носителей и передатчиков анекдотов не так уж много. По нашим оценкам не более 10% детей готовы на просьбу исследователя тут же рассказать вспомнившийся им анекдот про политиков. Но уж если ребенок знает такие анекдоты, то обязательно расскажет не один, не два, а три, четыре и более. Давайте же посмотрим на детский политический анекдот более внимательно, насколько это возможно, учитывая специфику жанра и возраст рассказчиков.

Для начала заметим, что детские анекдоты, в отличие от других фольклорных жанров (считалки, песенки, стишки, дразнилки), практически неповторимы и уникальны. Как правило, анекдоты имеют хождение внутри одного детского коллектива и очень редко транслируются в другие сообщества. Можно обойти десятки детских садов и не зафиксировать повторяющихся анекдотов, они везде будут разными. Зато дети из одной группы детского сада наверняка будут рассказывать одни и те же анекдоты.

Условно анекдоты дошкольников можно разделить на три большие группы. **Первая** — анекдоты, рожденные во взрослой среде, заимствованные оттуда детьми и адаптированные ими под свой возраст. Назовем их псевдодетскими. Такие анекдоты соответствуют всем признакам традиционного анекдота: игра слов, подтекст, иносказание. Они более лаконичны, умны, каждое слово точно выверено и взвешено: они устойчивы, то есть рождаются на злобу дня и живут до тех пор, пока фиксируют некоторую противоречивость социальной реальности. Эти анекдоты с легкостью передаются из одного детского коллектива в другой и с интересом воспринимаются как в детской, так и во взрослой аудитории. Рассказывая такой анекдот, ребенок может продемонстрировать перед друзьями или родителями зрелость своих интеллектуальных умений. Вот несколько типичных псевдодетских анекдотов, записанных в 1991 г.:

Сидит Горбачев. Заходит Сусанин. Горбачев говорит: “Что же ты не сказал, я бы весь съезд собрал?! А Сусанин: “Зови весь съезд, я вас дальше поведу!”

Идет Горбачев по тротуару, и у него заболела голова. Заходит в аптеку и спрашивает, “Есть ли что от головы?” Ему говорят: “Молоток”.

Едут на заседание Горбачев и Ельцин. Горбачев на “Запорожце”, Ельцин на “Волге”. У Горбачева сломался мотор. Он выходит из машины, открывает багажник и говорит: “Вот до чего дошло, уже на ходу моторы воруют!”

Вторая группа — подлинно детские анекдоты. Они чаще всего встречаются в детской среде и имеют широкое хождение среди дошкольников. Эти анекдоты рождены самими детьми, хотя автор, естественно, неизвестен; оформлены в соответствующую лексическую и смысловую форму и, как правило, непонятны, скучны и неинтересны для взрослого. В них нет привычного для взрослого уха подтекста, игры слов. Здесь скорее присутствует лишь внешняя комичность: герой упал, шарахнулся, стукнулся лбом, упал в бочку, улетел в лужу, взорвался и т.д. Да и ритмика истинно детского анекдота существенно отличается от ритмики взрослого. Это не короткий рассказ, а целое повествование с детальным, многократным (слово в слово) повтором предисловия, за которым следует неожиданная и скоротечная развязка. В подобных анекдотах ребята описывают собственный жизненный опыт и воспроизводят хорошо им знакомые модели отношений между людьми. Именно поэтому такие анекдоты, по нашим наблюдениям, охотнее всего рассказываются и запоминаются детьми:

Летят Горбачев с Ельциным в самолете. Ельцин сидит, а Горбачев все время песенку поет: “Калинка, калинка, калинка моя”. Ельцин ему говорит: “Перестань песню петь, а то накажу”, Горбачев не послушался и опять поет: “Калинка, калинка, калинка моя”. Ельцин ему опять говорит: “Перестань песню петь, а то накажу”. Горбачев все равно поет: “Калинка, калинка, калинка моя”. Тогда Ельцин взял чемодан у Горбачева и выбросил его в окошко!

(Записано в 1992 г.)

Пришли Ельцин и Горбачев к королю. Король говорит: “Кто поднимется на 17-й этаж и возьмет у обезьянки банан, тому полцарства отдам и два сундука сокровищ. Горбачев лезет–лезет, а обезьянка говорит своей маме: “Мама, что мне делать?” А мама: “Хватай его за волосы и вниз!” Обезьянка схватила Горбачева за волосы и вниз бросила. Горбачев лысым упал. Ельцин лезет–лезет, а обезьянка спрашивает свою маму: “Мама, что мне делать?” А мама, “Хватай его за волосы и вниз!” Обезьянка схватила Ельцина за волосы и вниз бросила. Ельцин тоже лысым упал. А король ему говорит: “Ты лезь кверху попой!” Ельцин полез кверху попой, а обезьянка спрашивает у мамы: “Мама, что мне делать?” А та: “Пинай!” Обезьянка как пнет по попе. Ельцин в сундук с сокровищами — шарах!

(Записано в 1995 г.)

Третья группа — это анекдоты–экспромты. Они рождаются в голове ребенка в процессе беседы с исследователем и, как правило, инициированы самим исследователем. Откликаясь на просьбу социолога рассказать что–нибудь смешное о политике, ребенок, если в запасе у него нет готового анекдота, начинает в буквальном смысле фантазировать и придумывать некий смешной, на его взгляд, рассказ на политическую тему. Ситуация извлекается из подручного материала. Особенно этим отличаются коммуникабельные, контактные дети. В традиционном анекдоте вопрос о личном авторе снимается. С анекдотом–экспромтом дело обстоит по–другому. Автор перед нами, мы присутствуем при рождении анекдота. Высшие эти фантазии вовсе не напоминают традиционную форму анекдота, а выглядят скорее как сплошной поток сознания, неупорядоченный, эмоционально окрашенный набор фраз и характеристик. Ребенок может начать повествование о Ельцине и татарине, а закончить Петькой и Чапаевым, он может виртуозно использовать в рассказе переименованные им крылатые выражения: “...Совершенно нападение на депутата. Приезжают эти бандиты. Опять стреляли. И в газетах пишут: “Пуля попала в качель. Никто не пострадал. Депутат живет всех живых и будет жить!” Такие рассказы, а дети их идентифицируют как самые настоящие анекдоты, в буквальном смысле неповторимы, ибо рассказываются только один раз. Никто, даже сам рассказчик, уже не сможет повторить такой анекдот. Тем не менее и они

представляют исследовательский интерес, поскольку не лишены смысловой нагрузки:

Пошел Горбачев на сессию и по дорожке ножку сломал. Приходит в больницу и говорит: “Почините мне ножку”. Стали они с Ельциным в больнице в посудку играть. Ельцин пожарил Горбачеву слона, курочку и всякое такое, а чеснок – то был сделан из бомбы. Горбачев съел чеснок и взорвался!

(Записано в 1991 г.)

Один раз идет Ельцин с прокурором и ведет его за веревочку. Приходит в акцию А/О “МММ” и говорит: “Моему прокурору надо дать пропечатку билета”. Потом пошел, стал рельсой. По нему идет поезд, он закричал и умер, а рельсы потом мягче стали. А акции им не дали, потому что ему не верит никто.

(Записано в 1994 г.)

Ельцин воюет с Лениным. Ельцин командовал русскими, а Ленин фашистами. Ленин говорит фашистам: “Стройся!” Они построились, ружья навалили по стенкам. Ельцин говорит: “Стройся!” Русские стреляют по фашистам. Ленин: “Вы что, болваны? Я же вам говорю по солдатам стрелять”. — “Они же не взрываются, сэр!” Дом разрушился, солдаты вместе с Лениным вылазят: “Я же говорил не стрелять по танкам, я изучил, что танки не взрываются. Мы сдаемся”. Ельцин, “Ну ладно, они сдаются. Огонь!”

(Записано в 1995 г.)

Само существование латентной политической культуры говорит о наличии у детей какой-то социально-духовной потребности, которую не способны удовлетворить другие культурные образования. Когда ребенок обращается к другому ребенку с предложением рассказать анекдот, происходит не просто дурашливое времяпрепровождение, а нечто большее — обмен важнейшей информацией о “взрослой” жизни. Можно предположить, что детский политический анекдот выступает своеобразным способом хранения и передачи социального знания, к тому же он сам является мощным источником формирования определенных политических ориентаций и моделей мировосприятия в будущем.

В самом деле, анекдот, само существование которого предполагает типирование реальности, становится средством познания мира. Политический анекдот не только добывает социальное знание из-под “кресла” официальной культуры, он удовлетворяет потребность в такого рода знании и, следовательно, предоставляет возможность ориентации в сфере социальной реальности. Потому-то анекдот, при всех прочих обстоятельствах, является необходимым звеном в политической социализации, в структурировании и организации “жизненного мира” каждого индивида. Ведь, пожалуй, только анекдоту подвластно “соскоблить” с представлений о реальности все фальшивое и наносное, обнажая ее часто в буквальном смысле.

Угрюмой серьезности взрослого запрета противостоит смешливость ребенка-нарушителя. Для взрослых все темы и проблемы детских анекдотов запретны в строго определенном смысле. Они запретны прежде всего с точки зрения благопристойности. Детский анекдот опротестовывает лицемерие нравственности взрослых, смеясь над ней. Откровенный натурализм детского анекдота (“фекальная” тема) становится оппозицией разыгрываемой благопристойности взрослых. Другой запрет касается политики — в сущности, тоже благопристойности, но уже не бытовой, а государственной, трактующей о строгих правилах не личного, а гражданского поведения. Быт и политика — этими двумя областями только и

занят детский анекдот. По крайней мере, не менее 90% услышанных и записанных нами в детских садах анекдотов относятся к той или другой сфере или к обеим сразу.

В политизированном обществе всякий анекдот становится политической сатирой на окружающий мир, а дети в таком обществе постигают реальность через политические анекдоты. Через них ребенок приобщается к миру взрослых, “схватывая” фрагменты социального знания, закодированного в емкой формуле анекдота. Проговаривая анекдот, ребенок погружает политиков в знакомую ему сферу повседневности и быта. Персонажи–политики “ползут по трубе”, “лезут на дерево”, “сидят на унитазе”, “лежат в больнице”, “едят бананы” и т.д. Незнакомая и таинственная сфера политики в устах ребенка вдруг приобретает обыденные черты, политики становятся похожими на каждого из нас, харизма сбрасывается. Происходит своего рода “десакрализация” политического, поскольку над этим можно смеяться. Политический анекдот для ребенка восполняет тем самым дефицит социального знания о политике и политиках, приближая их для понимания детским сознанием. Анекдот как бы фиксирует, что политики — чужие, но их инаковость понимаема и принимаема детьми.

Юмор, заключенный в детском анекдоте, редко глумливый, порой просто добродушный. Главное же — анекдот дает точную формулировку запретной правды, опровергая “взрослую” ложь. Детский анекдот — это правдивый апокриф, противостоящий “взрослому” мифу. Проговаривая запретный анекдот, дети дышат свободой, свободой от родительского и государственного ока.

— Ты не годный ни на что мальчишка! Плохо учишься, — укоряет отец сына. — Ленин в твоём возрасте учился только на отлично.

— А когда у Ленина был твой возраст, он уже являлся главой правительства.

Таким образом детский политический анекдот выполняет две важнейшие общественные функции: **информационную** функцию и главное — функцию **политической социализации**. Он одновременно несёт сообщение, противостоящее официозу, и “вводит” ребенка в мир политики, давая возможность ориентироваться в социальном пространстве.

Детский анекдот всегда детален, внимателен и заботлив к мелочам. В нем не действует такой персонаж, как политик вообще. Лица всегда конкретны и индивидуальны — Гитлер, Сталин, Ленин, Ельцин, Горбачев и т.д. Свободные от внутренней цензуры анекдоты детей смело вторгаются в “неудобную” сферу жизни политиков, тонко подмечая специфическое и типическое для данного персонажа. Рассказывание анекдота — всегда некая игра тайного с общеизвестным, неведомого с очевидным. Анекдот способен “ухватить” нечто, не поддающееся точному и строгому описанию. Политический анекдот в устах ребенка, шаржируя и пародируя, зачастую буквально издевается над своими героями:

Раз Ельцин поспорил с Горбачевым, Горбачев рассердился на Ельцина и раскопал яму. Ельцин туда упал. Горбачев говорит: “Индийская шутка, выход налево!” Ельцин вылез из ямы и тоже выкопал яму для Горбачева. Горбачев туда упал, а Ельцин говорит ему: “Русская шутка, выхода нет!”

(Записано в 1992 г.)

Раз Ельцин говорит Горбачеву: “Давай за фашистов заступимся”. А Горбачев: “Ты что? Надо Россию защищать! Ты что, пьяный?” А Ельцин ему: “Ты что, не видишь, я еще трезвый!”

(Записано в 1995 г.)

Повод и сюжет кажутся здесь принципиально незначительными. И не важно, что это выдумка, важно “приписывание” персонажу такого странного образа действий, который дает основание посмеяться над ним.

Не будем обсуждать, имеет ли детский анекдот какую-либо реальную основу. Показательно другое — анекдот уловил, “прочувствовал” тенденцию. Перед нами пример социального “анекдотного” знания, которое оказывается далеко небезосновательным. По многим деталям, собранным наблюдениям (разговоры родителей, кадры телепередач и проч.) ребенок констатирует факт: президенты “копают” друг под друга, причем один из них страдает пристрастием к алкоголю. Столь же небезосновательны и другие сюжеты, повествующие о том, как Ельцин, к примеру, поспорит с Клинтоном — у кого сильнее солдаты, или как Ельцин спихнул Горбачева, а тот не смог подняться, или как Ельцин жаловался Ленину, что дела в России плохи, или такой, нами уже упоминавшийся “Один раз идет Ельцин с прокурором и ведет его за веревочку...”.

Несмотря на видимую простоту и даже банальность схемы, детский политический анекдот феноменологичен, по сути, как индикатор состояния массового сознания. Нынешний президент в детских анекдотах — ловкий интриган и заядлый спорщик, воюющий солдат и просто глупый человек, до которого смысл слова доходит только с десятого раза, и политик, потерявший свое лицо — его не могут “разгадать” даже люди из ближайшего окружения:

Борис Николаевич Ельцин приехал к себе в Россию. Сидит, сидит. Приходят к нему политики: “Борис Николаевич, кто Вы?” — “Я не скажу”. — “Ну, кто Вы?” — “А не скажу кто, не скажу!”

(Записано в 1995 г.)

Собственно пафос многих детских анекдотов о президенте и заключается в “разгадывании” образа первого лица в государстве, в очевидности несовпадения образа президента, сложившегося в массовом сознании, с образом, выстраиваемом официальной идеологией. “Наш” или “не наш” — коллизия двузначного существования характерна для всех детских анекдотов о президенте. Как правило, дети приписывают своему персонажу столь странные мысли и действия, что и сам он становится странным, непонятным и, следовательно, “не нашим”.

Анализируя детский политический юмор, трудно отделаться от мысли о важности выделения некоторых возрастных этапов его проявления. Дошкольный анекдот значительно отличается от подросткового. Но влияние школы на характер и направленность шуток также мало изучено. Следует, однако, предположить, что существенные изменения все же происходят, поскольку в школе обучают не только арифметике и чтению, но и дают представления о политических ценностях.

Школьники младших классов впервые сталкиваются с новыми понятиями “родина”, “патриотизм”, “суверенитет”, еще не понимая их смысла. Однако они начинают понимать противоречивость ценностей в учебниках и уроках и реагировать на них соответствующим образом:

Отец сыну: “Кто тебя научил так врать?”

Сын отцу: “Учебник истории СССР”. (Укр.)

В исследованиях последних лет накоплено много фактов, свидетельствующих о том, что усвоенный ребенком стиль общения дома отличается от стиля и ожидания учителя, взаимодействия учителя и ученика становится дисгармоничным. При обсуждении какого-либо пересказа (устная речь типа “покажи и расскажи”) — обучение в ситуации устного рассказа — встречаются неожиданности.

Во время проверки в школе инспектор спрашивает учеников:

— *Какая личность, с которой вы столкнулись в течение учебного года, потрясла вас сильнее других?*

— *Меня — Наполеон.*

— *Меня — Ганнибал.*

— *Меня — Юлий Цезарь.*

— *А тебя? — обращается инспектор к ученику за последней партией.*

— *Мой отец, когда увидел отметки за первое полугодие. (Исп.)*

Дж.Коллинз изучал подобные типы вербального взаимодействия на уроках чтения в группах хорошо успевающих и неуспевающих школьников. Он пришел к выводу, что учителя в своих ответных репликах-вопросах значительно чаще используют идеи, высказанные школьниками успевающей группы, чем неуспевающими. Во взаимодействии с детьми из неуспевающей группы значительно возрастает число “осечек”^[85].

Урок в школе.

— *Дети, кто знает, какой у нас век?*

Молчание.

— *А какой у нас год?*

— *Юбилейный. (Сов.)^[86]*

За последние три-четыре года “взрослый” анекдот заметно пошел на убыль, редко услышишь что-нибудь новенькое. Не скудеет только детский политический анекдот, он по-прежнему противостоит и будет противостоять миру взрослых, миру официальной культуры, следовательно, неисчерпаем. Мы лишь прикоснулись к этой теме, попытавшись представить ее как проблемную и заслуживающую научного анализа. Что касается политической цензуры, то можем заверить, что все представленные анекдоты российских детей подлинные, а значит, обижаться на них бессмысленно. Так уж повелось у нас: какие политики — такие и анекдоты. А из анекдота, как и из песни, слова не выкинешь, тем более из детского. К тому же пословица гласит: “Устами младенца глаголет истина”. Именно это заключение сделала читательница “Аргументов и фактов”.

“Советую политикам “Не ругаться” и “жить дружно”, малыши, безусловно, правы. Мой пятилетний внук Алеша политикой не интересуется, предпочитая мультики. Но однажды летом он меня буквально потряс. Захожу как-то в комнату, а Лешенька с серьезным видом говорит в трубку своего игрушечного телефона: “Шамиль Басаев, вас плохо слышно...”^[87]

В данном случае речь идет об одном из важных психологических механизмов социализации — имитации поведения взрослых. Образцами подражания становятся родители, учителя или люди, обладающие высоким статусом или властью. Задумаемся об этом...

ОЧЕРК ВОСЬМОЙ

ЮМОР КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

В политическом взаимодействии люди зачастую обмениваются шутками, остротами, анекдотами, а иногда и нецензурно–фривольными надписями на заборах и в туалетах. Вызывая смех, любое подобное сообщение несет в себе сигнал, значение которого может быть понято по–разному. Более того, в зависимости от состава группы и культурной среды оно вообще может утратить всякий смысл. Рассказ веселой истории, например о коммунистах или демократах во время церковной службы, был бы явно неуместен. И та же история, умело повторенная в кругу друзей, несмотря на различные политические пристрастия участников разговора, может вызвать дружеский смех.

Этот смех на какое–то время объединяет людей. Он помогает наладить контакт даже между малознакомыми людьми, ну а если эти люди имеют относительно общие взгляды и им угрожает мнимая или реальная опасность от другой группы, то юмор может не только разрядить обстановку, но и придать обменивающимся шутками столь необходимую им толику энергии. Особенно в ходу шутки, которые вызывают хотя бы на короткое время, чувство превосходства над противником.

Наиболее воодушевляющими в этом качестве представляются такие приемы, как гипербола, гротеск, иносказание, фантастика. Таковым стилем в совершенстве владел М.Е.Салтыков–Щедрин — наиболее знаменитый и непревзойденный из русских политических сатириков. Юмор писателя поражал своих современников желчностью и беспощадностью.

Гротескные образы Брудастого–Органчика, Угрюм–Бурчеева как бы дополняются и оттеняются “глуповцами” — пассивными рабами своих угнетателей. “История одного города”, по сути дела, это двусторонняя сатира: на самодержавие и на неверующих в себя народных масс. Салтыковские персонажи — и в этом их живучесть до сих пор — обсуждаются в разных группах населения (от школьников до академиков), и их живописные характеры, кажется, бессмертны.

Современная ситуация

Июльское (1995 г.) наступление генпрокуратуры на телевизионную передачу “Куклы” представляло собой своеобразный сигнал читателю: у нас складывается общество, где серьезность и противостоящий ей смех в очередной раз расходятся по разным углам ринга. В нашем разделенном мире профессиональные политики — этакое воплощение серьезности, явно опасаются кажущейся им разрушительной силы смеха. Угроза представляется настолько серьезной, что принуждает их перейти в какую–то контратаку.

Ситуация 1995 года была такова, что никогда неухающая борьба приняла своеобразные формы: не только российская прокуратура возбудила безнадежное уголовное дело против энтэновских кукол, но и в Симферополе был арестован И.Крот за распространение карикатур на президента Украины. Словом, древнее неприятие властями комедий Аристофана, иронии Сократа, фривольностей парижских кукульников, забав русских скоморохов, анекдотов советских интеллигентов снова стало очевидным. Конфликтующие стороны неравны в своих возможностях, но все же, как бы ни закончился очередной раунд, серьезность и смех останутся, как говорится, в конечном итоге при своих интересах. Они неистребимы и ни одна из сторон, пока существует человек, не сможет добиться решающего успеха.

Кажется, вся проблема в том, какова все же необходимая мера восприятия и смеха, и серьезности. Сегодняшнее состояние российского общества таково, что смех как естественная эмоциональная реакция на парадоксальность и комичность политических ситуаций и персоналий довольно редкое явление. По-видимому, его распространение далеко не достигло того рубежа, за которым видны всеобщее возбуждение и недоверие к властям. А именно этого опасаются, и, видимо, напрасно, отдельные сверхсерьезные и уважающие себя политики. Но все же заметим об аксиоме мирового опыта — универсальный смех не противостоит серьезности, а оттеняет и иногда и очищает ее.

Юмор и демократия

На поверхностный взгляд политический юмор и вызываемый им смех, в отличие, например, от бытового, довольно агрессивен. Поэтому неопытные политики, замечая эту черту, как правило, хором утверждают, что юмор и смех направлены против авторитета властей и, следовательно, должны быть ограничены или вообще запрещены. Однако при более подробном анализе вскрываются любопытные подробности.

Становится, в частности, очевидным, что политический юмор является реакцией (иногда неадекватной) на слишком большую концентрацию власти в обществе, он, следовательно, служит примером своеобразной **сублимации агрессии** и, следовательно, относительно безопасным высвобождением накопившейся агрессивности по отношению к высшей власти. Именно эта власть и, это ее естественная природа, рождает институты, стремящиеся наложить на общество те или иные запреты. И люди, естественно, ищут любые формы сопротивления авторитарным поползновениям, и, разумеется, юмор — не самая худшая из этих форм.

Следует иметь также в виду, что любые действия самих политиков представляют собой тоже не что иное, как собственную сублимацию агрессии, выражающуюся в волевых решениях, спорах, компромиссах и прочих актах. Война слов, которую ведут политики, не менее агрессивна и не менее комична, чем они сами себе это представляют.

В отличие от политиков юмористы демонстративно обнажают свою демократическую ориентацию. Вызываемый ими смех делает людей на какое-то, пусть непродолжительное, время свободными, раскрепощает их, и смех, по своей сути, в этом смысле антитоталитарен. Именно поэтому самолюбивые и властные политики зачастую опасаются смеха даже, в общем-то, больше, чем привычной им ненависти подданных.

Однако, заметим, эффект, производимый политическими шутками, анекдотами, постановками комедий, помимо прочего может нести и позитивный, т.е. функционально полезный характер для самих политиков, поскольку:

- 1) расширяет их умственный кругозор,
- 2) повышает их общую культуру,
- 3) привлекает к ним ослабевающее внимание,
- 4) препятствует их диктаторским замашкам,
- 5) ослабляет многие межличностные конфликты,

б) освобождает их от штампов, от монотонности и однообразия в действиях.

Самое же главное, и в этом общественно–политическая функция юмора, — он вызывает общий интерес публики к политике вообще и к ее представителям в частности. Если же читатель воспроизведет в памяти некоторых из персонажей “кукол”, то окажется, что они выглядят не менее привлекательно (кровь, проливаемая ими, не настоящая), чем в реальной жизни. Так что юмор, вопреки расхожему мнению политиков, не противоречит, а в конечном итоге сопутствует их безопасности.

Юмор и вкус

Формы политического юмора могут быть различными, но в своем высшем, а не банальном выражении он обычно восходит к общепринятым эстетическим нормам. В противном случае он воспринимался бы как вульгарный жест, как плоская шутка.

Некоторые видные юмористы: Хазанов, например, великолепен по части бытовых зарисовок (придурок из кулинарного техникума). Но что можно заметить по поводу его “бородатых” насмешек над болезненной дикцией Л.И.Брежнева?

Подобные вопросы можно задать и нынешним авторам и исполнителям “кукол”.

Российские телевидение и газеты, публикующие анекдоты и карикатуры, зачастую рассматриваются публикой либо умелыми манипуляторами, либо жертвами сопротивления обеспокоенной части политиков. К этому в конечном итоге в демократическом обществе можно привыкнуть и сделать вывод — просмотр юмористических программ, чтение газет и журналов с анекдотами и карикатурами направлено в общем не столько на формирование определенного негативного мнения или подрыв авторитета того или иного политика (хотя это и случается), сколько на отражение социальных изменений, происходящих в самом обществе. Как итог развивается легитимизация самых разнообразных, и следовательно, демократических, форм восприятия политиков населением. Однако, оценивая в целом тенденции развития телевидения, как и других средств информации, нельзя не отметить возникновение новых расхождений между восприятием их отдельными социальными группами. И к подобным ситуациям можно бы и политикам, и телевизионщикам относиться терпимее. Существует же общечеловеческая истина: люди могут настаивать на любой форме участия в политическом процессе, независимо от степени его драматичности или комедийности. Только тогда униженные люди России смогут надеяться хоть как–то ослабить путы своего бессилия и жить, хотя и бедно, но все же достойно.

Оценка общественным мнением

Люди обычно интуитивно поддерживают любую, будь то формальная или неофициальная, критику властей. Эта привычка издавна в природе человека.

В свое время один рабочий написал на заборе завода: “Хрущев — дурак”. Ему дали 6 лет — один год за порчу государственного имущества и пять лет за разглашение государственной тайны. К тому времени, когда Хрущев вернулся из первой заграничной поездки, осужденный уже отсидел год и его освободили — разглашенное им перестало быть государственной тайной^[88].

Прежняя система органично рождала политический юмор. Сейчас смех раздается несколько

реже, но время от времени появляются недурные анекдоты.

Во время теледебатов В.Жириновского и Б.Немцова (1995 г.) последний спросил:

— Чем же Вы объясните свой провал на выборах в Нижнем Новгороде?

— Я стал жертвой.

— Жертвой чего?

— Аккуратного местного подсчёта.

На массовом уровне, хотя и трудно из нынешних людей выдавить улыбку или смех, все же политический юмор явно желателен. Кстати, в разгар “кукольного скандала” мне удалось связаться с опросчиками Фонда “Общественное мнение” и спросить о реакции российской публики на сатирические передачи телевидения. К счастью, данные опроса российского населения от 22 июля 1995 г. сохранились и мне оставалось только записать и привести их:

Вопрос: Считаете ли Вы, что средства массовой информации имеют право на сатирическое изображение руководства России?

Считаю, что “Да” — 69% опрошенных.

Считаю, что “Нет” — 13% опрошенных.

Затрудняюсь ответить — 18% опрошенных.

Выяснилось также, что число опрошенных москвичей составило 669 человек по случайной вероятностной выборке по месту жительства. Причем распределение по полу составило:

Считаю, что “Да” — мужчины 74%, женщины 64%.

Считаю, что “Нет” — мужчины 12%, женщины 15%.

Затрудняюсь ответить — мужчины 14%, женщины 21%.

Интересно распределение по возрастным группам (в %):



По образованию (в %):



Таким образом, зависимость мнения о “правовой возможности” на политическую сатиру от факторов образования, возраста и пола довольно заметна, хотя общая картина очевидна и малопривлекательна для контролируемых чиновников.

Политики шутят

Юмор самих политиков является скорее исключением, чем правилом. Дело, которым они профессионально заняты, кажется им до чрезвычайности важным и, бесспорно, серьезным. И для них необходимы высокий интеллект и уверенность в своих силах для преодоления уже на какое-то время сложившихся твердых стереотипов поведения. Ответственность за серьезность в действиях они склонны возлагать на обязанности перед своими избирателями или перед группой поддержки. Им кажется, что массам чаще всего нравится харизматический лидер с такими качествами, как воля, решительность и, разумеется, серьезность. Такие люди если и позволяют себе шутить, то только среди близких им людей. Разумеется, бывают и исключения, характерные, например, для американской политической культуры. Что касается российских политиков, то принадлежность к номенклатуре, неважно, бывшей или настоящей, настоятельно диктует им определенный стиль поведения, исключающий всякого рода фривольности.

И лишь лидеры с сильным психологическим полем, достигнув высоких позиций, могли позволить себе нарушить правила игры.

Тень Сталина долго лежала на советско–югославских отношениях. Когда Хрущев прилетел в Белград на переговоры с Тито, тот в сопровождении свиты встречал гостя. Один из высоких чиновников сказал Хрущеву:

— Россия и Сталин сделали нам так много плохого, что нам сегодня трудно доверять русским.

Воцарилась напряженная тишина. Хрущев подошел к говорившему, хлопнул его по плечу и сказал:

— Товарищ Тито, когда тебе понадобится провалить какие-нибудь переговоры, назначь главой делегации этого человека.

Смех снял напряжение^[89].

Нынешние руководители, невольно сознавая и не сознавая этого, не лишены юмористического дара. Здесь и “проглатываемые суверенитеты”, и обещания “вылечить сифилис за два укола”, и многое другое. Населению наиболее запомнилась известная шутка премьера В.С.Черномырдина: “Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда”.

У журналистов восприятие политиков более значимо. Так сотрудник одной из московских газет собрал довольно интересные высказывания депутатов Государственной Думы.

(Из коллекции корреспондента ИМА–пресс в Госдуме).

Вячеслав Марычев (фракция ЛДПР): “Нам необходим законопроект о расстреле депутатов”.

Он же: “Когда депутаты выходят к микрофону в подтяжках — это преступление”.

Он же: “В митинге приняли участие около 152 человек”.

Анатолий Ярошенко (Аграрная партия России): “Надо поддержать аграриев. Ведь мы каждый день садимся за стол... (подумав) или ложимся”.

Владимир Семаго (КП РФ): “Нельзя провоцировать на провокации!”.

Он же: “Чтобы получить независимость Конституционного суда, его надо привезти откуда–нибудь из Мозамбика. Но негров экспортировать чрезвычайно сложно”.

Тамара Токарева (АПР): “Это значит, что мы выбрасываем на улицу людей неизвестно с каким концом, который мы не прописали”.

Владимир Жириновский (ЛДПР): “Пусть наши предки в середине XXI века рассудят нас”.

Владимир Лукин (ЯБЛОКО): “Мы не должны спешить с вступлением в программу “Партнерство во имя мира”, поскольку формы изнасилования не так важны, как содержание прогресса”.

Сергей Глотов (независимый кандидат): “Надо подождать — пока нет людей”.

Спикер Иван Рыбкин: “Почему нет людей? Ведь есть депутаты!”^[90].

Субъекты юмора

Высмеять правителей — давнишнее и постоянное желание подданных. Опасности, ожидаемые на пути реализации этого желания, редко кого останавливают. Аналитики замечают, что анекдот интересен лишь тогда, когда за него можно попасть в тюрьму: “Хорошие шутки и политические хохмы нуждаются в репрессиях”^[91].

В России с уходом старой номенклатуры многие советские анекдоты потеряли смысл. Их вспоминают лишь люди старшего возраста и то проецируя их в основном на нынешних выдающихся руководителей. И это естественно, поскольку на смену одним игрокам с чувствами народов, как правило, приходят другие. Этот круговорот происходит постоянно и во “всемирном масштабе”. И процесс этот можно было бы, конечно, ускорить — смена политиков также необходима, как и обмен веществ в природе. Старающегося удержаться у власти не стоит свергать, — как говорится, себе дороже — достаточно изучить и живописно описать его самого, а заодно и “свиту короля”. Нарциссизм, столь характерный для подобного рода политиков, по–прежнему недостаточно излюбленная, на наш взгляд, тема юмористов.

Представим себе, к примеру, широкую публикацию анекдотов о Л.И.Брежневe при его жизни. Нам кажется это невероятным, но в любом демократическом обществе это обычная практика. Личность лидера в этом случае довольно ясна и склонность к самовлюбленности и самолюбованию находит всеобщее осуждение. При демократических выборах это было бы

непреодолимым препятствием для дальнейшей карьеры.

— *Что такое бормотуха “пять звездочек”?*

— *Брежнев.*

Любовь к наградам и прочим символам власти союзного лидера обыгрывалась повсеместно в любых компаниях, вечеринках и даже в обеденных перерывах.

Наиболее распространенным и эффектным был следующий анекдот^[92].

На заседании Политбюро.

— *Брежнев: Ходят слухи о том, что мы злоупотребляем наградами. Категорически их отрицаю. Только вчера мы отказались от самой престижной награды Республики Мозамбик — золотого кольца в нос.*

Циркуляция огромного количества анекдотов, шуток настолько изменили привычку играть символами власти и почета, что последующие лидеры демонстративно воздерживались от получения несомненно желаемых ими наград. Так М.С.Горбачев к концу карьеры явно предпочел международное признание, особенно с бумажками зеленого оттенка. Реакция публики была адекватна и зла. “Мокрую курицу наградили орденом Орла”, “Пятнистая болонка получила из рук Буша медаль”^[93].

Скрытый конфликт между лидером и массой мог бы разрешаться на ранних стадиях путем обычных процедур, главная из которых — свобода слова и печати. Ведь параноидальные отклонения, столь характерные для многих крупных лидеров, всякое уважающее себя общество может при помощи средств массовой информации контролировать с достаточной вероятностью. Так было замечено, что общественное мнение особенно болезненно реагирует на получение тем или иным политиком неза заслуженной награды. С социопсихологической точки зрения это вполне объяснимо: каждая группа, каждый человек получает определенное вознаграждение в обмен на участие в социальном процессе (затрата энергии). Рабочий и служащий получает зарплату, домовладелец — аренду, бизнесмен — прибыль, автор — гонорар. В особых случаях общество выделяет кому-то специальную премию, подарок или орден. И проблема заключается в том, **кто определяет награду** и **кто соответственно награждается**. И есть ли ныне более убийственное средство для нынешних политиков, чем получение всякого рода наград и привилегий?

Принижение какого-либо влиятельного лидера всегда являлось целью всякого рода шуток. Известный психолог А.Бэн, а затем и Е.Амбарцумов с достаточным основанием считают, что само принижение порождается современным сочетанием двух противоположных тенденций — к персонализации власти и к усилению общественного мнения, когда рядовой гражданин говорит вслух то, что раньше не позволял себе и думать. “Особого вреда это не приносит, — пишет С.Н.Паркинсон, — и те, кто склонен к высокомерию, вынужден смеяться над собой”^[94].

Осуждение всякого рода “хоxm” в адрес влиятельных лиц означает по меньшей мере отсутствие чувства юмора. В худшем же — непонимание того, что на самом деле происходит не разрушение или унижение, а выпускание пара из перегретого котла. В этом смысле юморист А.Райкин в советской истории был не только непревзойденным мастером культуры, но и человеком согласия, и вряд ли правы те, кто утверждал противоположное.

В России наблюдается как никогда стремление людей улучшить свои жизненные условия и, в частности, желание двигаться “вверх” для достижения больших материальных ресурсов, власти и статуса. При этом люди хотят иметь основание для своей позитивной оценки со стороны окружающих. В то же время представляется важным уважение людей не только при **повышении**, но и **понижении** их статуса. В любом случае люди идентифицируют себя с теми или иными группами. Если внутригрупповое и межгрупповое сравнение дает негативный результат, то человек так строит свои взаимоотношения с другими, чтобы достигнуть все же позитивной идентификации.

В стремлении к достижению этой цели важное значение приобретает движение, которое либо повышает проницаемость границ группы, либо ее стабилизирует, сплачивает. Подобная стратегия носит индивидуальный, либо групповой, а также официальный (формальный) или неофициальный (неформальный) характер. Одной из мало изученных функций информации при достижении социальной идентификации является юмор в уже упомянутых выше формах (насмешка, ирония, сатира, карикатура, анекдот и т.д.).

Напомним при этом — в определенных ситуациях согласно теории психоанализа юмор и его производное — смех служат агрессивному поведению групп. Еще З.Фрейд отметил, что для тенденциозного юмора нужны, в общем-то, три лица: первое — тот, кто использует смех (“остроту”), второе берется как объект для агрессивности, и третье, на котором достигается цель смеха (остроты), извлечение удовольствия (Фрейд З. “Я” и “Оно”).

Д.Левайне, последователь Фрейда, а затем и Р.Косер распространили этот тезис на социальное поведение в целом, утверждая, что юмор и смех **всегда** содержат некую агрессивность, независимо от того, направлены ли они на определенный объект или нет. Впрочем, в противовес было замечено (М.Истмен), что в подобное утверждение не укладывается целый “раздел” юмора — бессмысленные шутки. Да и народный юмор также не совсем вписывается в свой агрессивный подтекст. Так называемый детский анекдот, кажется, вообще отвергает приведенный выше тезис об агрессивности юмора.

Как бы то ни было, информационный процесс, особенно в политической, межнациональной сферах часто содержит элементы агрессии. И, по-видимому, концентрация информации в массовых электронных средствах и в печати не меняет общей картины. Группы — политические или национальные аутсайдеры — находят свои, хотя и несколько ограниченные, средства контрагессии в рамках так называемого контркультурного процесса. В обществе возникает и широко распространяется идея “великого отказа” (Г.Маркузе) от общества организаций, его научно-технических достижений, “враждебных” человеческой природе. Особенно обостряется этот процесс в период социальных потрясений. Социальные группы, объединенные организационно, создают своеобразные субкультуры. В них помимо общеизвестных элементов (андеграунд в живописи, эротический юмор, политический и межнациональный анекдот) привносятся и новые.

В противовес официальной информации всегда происходит контрпроцесс — создание и циркулирование неформальной (слухи, шутки и прочие атрибуты вербального взаимодействия людей).

Люди общаются через послание и обмен такой информацией. Существует точка зрения, согласно которой юмор, например, функционирует как сигнал членам группы, что опасность миновала и можно расслабиться. Такое видение складывается на основе изучения поведения

людей в примитивных обществах (первобытное общество), где повсюду господствовали различного рода опасности, а шутки и смех означали, что угроза среды миновала и нет смысла чего-то бояться. Хотя бывают и исключения, когда угроза или сам факт какого-то несчастья вызывают смех (смерть вождя, юмор висельника, “черный юмор”, “истерический смех”). Было замечено также, что люди ударяются в смех, когда внезапно получают плохие новости. Нервный смех могут вызвать даже ужасные события, происходящие вдали от самого места события, например, война или авария на атомной станции (Чернобыль).

Следует заметить, что в условиях централизации, граничащей с монополией, адекватная, реальная информация вообще невозможна. Используя сложившуюся ситуацию, те или иные властные или статусные группы сознательно фальсифицируют ее, подавая достаточно правдоподобно.

Такая информация является на какое-то время спасительной мерой. Однако она практически не учитывает психологический потенциал личности, который содержит как стремление к интеграции с потоком информации, так и к обособлению, к автономии. Поэтому бывает положение, при котором противодействие официальным средствам информации доминирует над ее безусловным усвоением. Такое положение характерно переносом на авторов информации, ее проводников чувства вражды. Как результат в неформальных общениях высмеиваются и осуждаются члены правительства и депутаты (“раздутый газом” или “чмокнутый” премьер, “Чубаучер”, “Килькин”, “Хасс”, “Шу-Шу”, “Паша-Мерседес”, “Абдул типа бей”), а также другие представители властных структур.

Общепризнанно, что политический юмор является реакцией (разумеется, иногда неадекватной) на слишком большую концентрацию власти в обществе. Но любая шутка создает реальную возможность “выпустить пар эмоций”. И такого вида юмор, безусловно, позволяет довольно безопасно как для общества, так и для политиков высвободить агрессивность по отношению к высшей власти. Именно эта власть рождает институты, стремящиеся наложить на общество те или иные запреты. И люди ищут любые формы сопротивления этим поползновениям, и юмор — самая мягкая из этих форм. Мы уже отмечали, что смех по своей сути антитоталитарен. Важна и некая общественно-политическая функция юмора — он вызывает интерес публики к политике вообще и к ее представителям в частности.

И как бы не осуждали всякого рода комические приемы со стороны тех или иных кандидатов в Государственную Думу на выборах в конце 1995 года, они запомнились избирателям (Б.Федоров, Н.Боровой) и вряд ли принесли им потери голосов избирателей. Частушки, высмеивающие особенно заметных своими пустыми обещаниями и всякого рода разглагольствованиями политических деятелей, записывались и перепечатывались как в добрые старые времена “Самиздата”.

Встал я утром в шесть часов
Нет резинки от трусов.

Вот она! Вот она!

На Чубайс намотана.

Оппозиционная печать (газета “Завтра”, “Советская Россия”) также использовала предоставившуюся возможность представить многих кандидатов в депутаты в весьма непривлекательном виде. Имели ли эти нападки какое-либо значение для итогов выборов, определить затруднительно. Но привлечение внимания избирателя к выборам все же, на наш взгляд, произошло, а по терминологии М.С.Горбачева — “И это главное!”.

ОЧЕРК ДЕВЯТЫЙ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРИКАТУРА

Одной из важнейших форм невербального общения людей издавна считается карикатура — рисунок, изображающий кого-либо в намеренно преувеличенном, смешном, искаженном виде. В политическом взаимодействии она употребляется чуть ли не с XIII века до новой эры. Именно в это время появился сатирический рисунок, изображающий Рамзеса III. Фараон сидит напротив антилопы за шашечным столом и, явно выигрывая, всем своим видом выражает торжество, самоуверенность и азарт. Существовала карикатура в Древней Греции и Древнем Риме, где объектом насмешки часто становились властители с их отвратительными пороками.

Примерно те же объекты карикатуры наблюдались в истории Российского государства, однако в “особые периоды” (внешние войны, внутренняя реакция) происходило некое смещение в сторону зарубежных политических деятелей (Наполеон, Бисмарк, Вильгельм). В советское время процесс перевода стрелок в сторону империалистического противника завершился, кажется, окончательно. Для многих художников путеводным было известное высказывание А.В.Луначарского.

“И сейчас наш смех, направленный против врага, будет злым, потому что враг еще силен.

В этой борьбе смехом мы имеем право изображать врага карикатурно. Ведь никто не удивляется, когда Ефимов или кто-нибудь другой из карикатуристов ставит Макдональда^[95] в самые неожиданные положения, в которых тот в действительности никогда не был. Мы очень хорошо знаем, что это бóльшая правда, чем лучшая фотография Макдональда, потому что этим искусственным положением, неправдоподобным положением карикатура выясняет внутреннюю правду ярче и острее, чем какой бы то ни было другой прием”^[96].

В первые годы советской власти карикатура стала составной частью агитационно-массового искусства. “Окна РОСТА” и другие сатирические плакаты были заполнены карикатурами М.Черемных, В.Маяковского, Д.Моора, В.Дени, В.Лебедева. В отличие от западного элитарного подхода к карикатуре, в России она использовалась для коммуникации властей с широкими массами населения. Ее злость и простота были достаточно понятны для любого читателя и зрителя.

В первые десятилетия (20-е–30-е годы) появились многочисленные сатирические журналы, вербальная и визуальная информация которых дополнялась газетными карикатурами, где авторами выступали А.Радаков, Л.Бродаты, Б.Ефимов, Н.Радлов, Ю.Ганф, К.Ротов, А.Каневский, Л.Сойфертис, И.Семенов. В годы войны они “переориентировались” на деятелей фашистской Германии, а после окончания ее на бывших советских союзников — Черчилля, Трумэна, Брэдли, Эйзенхауэра, Этли и прочих государственных и политических лидеров США и Западной Европы.

В предперестроечные годы государственная поддержка этого направления была особенно заметна. Неоднократно издавались альбомы Б.Ефимова, Кукрыниксов, Б.Пророкова, Ю.Ганфа и других мастеров карикатуры. Постоянно устраивались выставки политической сатиры и юмора. Так на выставке “Сатира в борьбе за мир” 1983 года было представлено более 800 произведений карикатуристов из 33 стран. Однако представляются сомнительными художественные достоинства произведений многих тогдашних карикатуристов — они оставались (да и сейчас остаются — А.Д.) “примитивным переложением газетной статьи на графический язык, подчас невнятный и беспомощный”^[97].

В современной России маятник, кажется, качнулся в другую сторону: не только оппозиционные, но зачастую и поддерживающие правительство издания, с садистско-мазохистской настойчивостью обращают внимание публики на нынешних политических деятелей.

Как бы то ни было, визуальное общение в этой области изменилось и довольно заметно. И дело не только в смене объектов насмешки, но и в заметном **усложнении** самого изобразительного языка.

По мнению В.Богорада (Санкт-Петербург), художники-карикатуристы поделились на две большие группы. К большей относятся “художники-эстеты”, к меньшей — “художники-философы”. Для нашего исследования, имеющего основную цель определить форму невербального воздействия, эта классификация довольно важна, поскольку выделяет тенденцию к заметному **усложнению** символов общения. Кроме того, здесь явно подчеркивается разделение объекта воздействия на две большие группы: массовую и избранную — сугубо элитарную. В отличие от традиционной (бытовой, политической) зарисовки карикатурист (“картунист” в современной лексике) обходится без подписей или текста, поясняющих ее смысл. Всю информацию несет исключительно сама карикатура. Словом, в работах художников-эстетов на первом плане — эстетические проблемы, на втором — информативность. В свою очередь, художники-философы стремятся высказать свои суждения через обобщения в форме “чистых” символов.

У них на первый план выходит информированность, на второй — эстетичность работ^[98]. Именно поэтому проблемная карикатура требует от объекта воздействия определенных знаний, таких знаний, которых было бы достаточно не только понять замысел художника, но и подтолкнуть зрителя к размышлениям. Произведения такого рода неоднозначны, поскольку используемый в них язык символики и обобщенные образы вызывают у различных наблюдателей не только разные длины ассоциативной цепи, но иногда и параллельные ассоциации, которые сам автор заранее не мог предполагать. Сам В.Богорад находит парадоксальным положение, при котором рисунки натуралистов (“картунистов”), создающие проблемную графику, чаще всего не смешны и в эмоциональном плане не способны вызвать ни улыбку, ни саркастическую усмешку. Словом — необязательность получения эстетического удовлетворения от содержания рисунка, как бы он ни был высокохудожественно выполнен. “В первую очередь, — пишет он, — сотворчество автора работы и зрителя начинается путем раскрытия эмоциональной ориентации относительно затронутой темы или проблемы. Благодаря этому, после того как тон задан и принят, зрителю раскрывается смысл рисунка единственно верно замыслу автора”^[99]. В качестве примера приводится работа Кардона — признанного художника антитоталитаризма под условным названием “Диссидент”, где изображены люди с кубическими головами. Они стоят, засунув свои головы в кубические стенные ниши. И лишь только один — шароголовый вызывает подозрение и враждебность соседей, поскольку проделать то же, что и все, он не в состоянии.

Какова же классификация употребляемых символов в проблемной графике? По частоте употребления она в общем-то схожа с обычной, свойственной художникам-эстетам. Это в первую очередь так называемая **“эзоповская” группа**. Здесь люди и животные наделяются одинаковыми свойствами не только внешнего вида, но также характера и интеллекта. Политические деятели изображаются “эзоповским” языком в последнее время не так часто, как ранее. Исключение, пожалуй, составляют наиболее колоритные фигуры, где сходство с некоторыми домашними животными бесспорно (один из лидеров “Выбора России”, например).

Постепенно, по мере культурного одичания нации выходит из употребления так называемая классическая **“мифическая” группа**, где прообразами служат персонажи Древней Греции и Древнего Рима (Зевс, Прометей, Геракл, Кентавр, Троянский конь, Цезарь, Нерон и др.).

Более живучей оказалась **“средневековая” группа** (Дон Кихот, король, королева, шут, палач, рыцарь, топор, конь), легко узнаваемая массовым потребителем информации. Роли каждого изображаемого символа достаточно жестко предопределены.

Следующие группы символов, на наш взгляд, характерны более для проблемной графики. Это, по терминологии Богорада, **“пиктографическая”**, включающая в себя все международные условные обозначения, **“итимическая”**, состоящая из символов–жестов (кукиш, указательный палец, кулак), **“платяная”** (клоун, почтальон, военный, полицейский, заключенный, дипломат, медсестра и т.д.), **“вещевая”** — наиболее употребительная (телевизор, стол, диван, телевизионная вышка, самолет, ракета, корабль и пр.).

Новая символика (орел на гербе, например) обычно создается на старом восприятии других символов (серп и молот, циркуль, голубь). Такое положение позволяет расшифровать новый символ и благодаря этой **“постепенности”** современные работы также понятны, как и предшествующие работы^[100].

Исследуя общие тенденции развития политической карикатуры, попытаемся кратко сформулировать несколько заключительных положений.

Заметим предварительно, что проблемная графика употребляется гораздо реже, чем обычная. Последняя традиционно продолжает господствовать в массовых печатных изданиях (газеты, журналы, книги, альбомы, плакат).

Один из основных видов графики — политические карикатуры — употребляется давно, но как особый вид искусства он начал приобретать особое значение лишь во второй половине XIX века. Итак, суммарно:

1. Большинство карикатур касаются отдельных важных тем, таких как избирательная кампания, вопросы войны и мира, коррупция в правительстве.
2. Карикатуры часто используют феномен преувеличенной похожести некоторых хорошо известных лиц, например, Черномырдин, Ельцин, Жириновский, или институтов для привлечения внимания. Кроме того, они могут использовать или создавать символ, известный всем его читателям, для того, чтобы представить важную идею, например, голубь как символ мира, звезда или орел — символ государственности и т.д.
3. Текст подписи под карикатурой сведен к минимуму для того, чтобы воздействие было главным образом визуальным. Размещается лишь несколько слов, которые используются для доведения до сознания основной идеи, а визуальный канал является доминирующим. Ельцин или Горбачев будут узнаны даже если их последователи не умеют читать, они могут просто посмотреть на картину. Таким образом, карикатурист, избавляясь от относительно неважных деталей, представляет тему в простейшем виде, понятном любому читателю.
4. Карикатурист графически излагает свою точку зрения или точку зрения газеты и журнала. Эта позиция обычно открыто направлена против властей, их коррупции или войны, а изображаемое — цель его критики, — представляется в явно преувеличенном виде.

Из-за использования визуального канала воздействия и/или критически нацеленного на

отдельную важную тему символа политическая карикатура становится действенным средством формирования общественного мнения. Ее апелляции к эмоциям вообще трудно противостоять и ее воздействие довольно заметно до нашего времени.

ОЧЕРК ДЕСЯТЫЙ

СОЦИОЛОГИЯ И ЮМОР

Удивительно, но до сих пор отечественные социологи и психологи старательно избегают столь значительной темы как “Юмор в социологии”. Осмелюсь предположить, что одна из причин боязни — возможность осмеяния собственных изысканий и того профессионального (“птичьего”) языка, без которого не обходится ни один серьезный исследователь. Жаль, конечно, поскольку смех во многих учреждениях (в том числе и социологических) занимает столько же времени, сколько и присутствие в них. Точнее — время, затрачиваемое на смех, вполне сравнимо с “чистым” временем, затрачиваемым на работу. К тому же политически ориентированные социологи (а они составляют тотальное большинство) редко смеются и, разумеется, мало используют такие “мелочи”, как анекдот, острота, шутка, народная частушка, оставляя их профессиональным литераторам и эстрадникам.

Объект насмешек

Но неучастие в парадоксальном восприятии — мира в юморе, — разумеется, не спасает от его последствий. Публика давно обратила внимание на все уязвимые места нашей науки. “Блажьлогия” (пустословие) — так определяли в элитарных кругах социологию на рубеже двух веков, а с конца 20-х годов сам термин вообще стали употреблять с явными идеологическими перегрузками.

Сатириконтцы (Н.Тэффи, О.Дымов, Арк.Аверченко и Л.О.Д'ор) наверняка читали К.Маркса и Э.Дюркгейма. Откровения последнего о механической солидарности и солидарности, производимой разделением труда, по-видимому, легли в основу греческой истории. Изучив, как и Э.Дюркгейм, необходимые источники, они нашли, что архаическая (“механическая”) солидарность не так уж и плоха, поскольку:

Народонаселение Греции разделялось на:

- 1) царей,
- 2) воинов и
- 3) народ.

Каждый исполнял свою функцию.

Царь царствовал, воины сражались, а народ “смешанным гулом” выражал свое одобрение или неодобрение первым категориям...

Кроме царя, воинов и народа были в Греции еще и рабы, состоящие из бывших царей, бывших воинов и бывшего народа.

Определенно совпадали идеи сатириконтцев и с тезисом, по которому история семьи с самого начала только непрерывный процесс диссоциации и лишь в цивилизованном обществе приобретает общественный характер:^[101]

Положение женщины у греков было завидное по сравнению с положением ее у восточных народов.

На греческой женщине лежали все заботы о домашнем хозяйстве, пряденье, тканье, мытье белья и прочие разнообразные хлопоты домоводства, тогда как восточные женщины принуждены были проводить время в праздности и гаремных удовольствиях среди докучной роскоши^[102].

Внесли свою посильную лепту в социологию и серьезные писатели. А.Платонов, например, без намека на жалость осудил подмену объективных характеристик людей несоизмеримыми представлениями о них. Не откажу в удовольствии привести красочную выдержку из романа “Чевенгур”:

“... Чепурный, когда он пришел пешком с вокзала — за семьдесят верст — властвовать над городом и уездом, думал, что Чевенгур существует на средства бандитизма, потому что никто ничего явно не делал, но всякий ел и пил чай. Поэтому он издал анкету для обязательного заполнения — с одним вопросом: “Ради чего и за счет какого производства вещества вы живете в государстве трудящихся?”

Почти все население Чевенгура ответило одинаково: первым придумал ответ церковный певчий Лобычихин, а у него списали соседи и устно передали дальним.

“Живем ради бога, а не самих себя”, — написали чевенгурцы.

Чепурный не мог наглядно уяснить себе божьей жизни и сразу учредил комиссию из сорока человек для подворного суточного обследования города. Были анкеты и более ясного смысла, в них занятиями назывались: ключевая служба в тюрьме, ожидание истины жизни, нетерпение к богу, смертельное старчество, чтение вслух странникам и сочувствие Советской власти. Чепурный изучил анкеты и начал мучиться от сложности гражданских занятий, но вовремя вспомнил лозунг Ленина: “Дьявольски трудное дело управлять государством”, — и вполне успокоился. Рано утром к нему пришли сорок человек, попили в сенцах воды от дальней ходьбы и объявили:

— Товарищ Чепурный, они врут — они ничем не занимаются, а лежат и спят.

Чепурный понял:

— Чудаки — ночь же была! А вы мне что-нибудь про ихнюю идеологию расскажите, пожалуйста!

— Ее у них нету, — сказал председатель комиссии. — Они сплошь ждут конца света...

— А ты им не говорил, что конец света сейчас был бы контрреволюционным шагом? — спросил Чепурный, привыкший всякое мероприятие предварительно сличать с революцией.

Председатель испугался.

— Нет, товарищ Чепурный! Я думал, что второе пришествие им полезно, а нам тоже будет хорошо...

— Это как же? — строго испытывал Чепурный.

— Определенно, полезно. Для нас оно не действительно, а мелкая буржуазия после второго пришествия подлежит изъятию...

— Верно, сукин сын! — охваченный пониманием, воскликнул Чепурный. — Как я сам не догадался: я же умней тебя!”^[103].

Насмешкам постоянно подвергаются и результаты “заказных” исследований, и сама терминология: “Что такое прикладные исследования, к чему они прикладываются? К кровати или к женщине?” — спрашивал академик, председатель комиссии по обсуждению краткого словаря социологических терминов^[104], и что за завораживающая тайна слов в “негативной коннотации свободы, выступающей как пленник аутентичной свободы” — глумится другой рецензент^[105].

Что касается платоновского юмора относительно социологического исследования Чепурного, то специалист при желании найдет там все основные методические приемы и процедуру — свидетельство тому учебники по социологии, изданные за последние десять лет. Гипотеза — город “существует на средства бандитизма”, вопрос — “ради чего и ради какого производства веществ вы живете в государстве трудящихся”, респонденты, повторившие ответ церковного певчего, анкетное суточное обследование, обработка данных, их обсуждение и квалифицированное руководство со стороны Чепурного — таков классический набор методов сбора информации. По-видимому, сам Чепурный удовлетворяет всем требованиям, обычно предъявляемым к ученым. У В.А.Ядова они сформулированы довольно определенно:

“В каждом из нюансов интерпретации и в итоговых объяснениях проявляется целостная личность исследователя. Он выступает не в качестве узкого профессионала, функционирующей электронно-вычислительной машины, но как теоретик и практик, как ученый и гражданин, научное мировоззрение которого оплодотворено богатством ассоциаций и активной партийной позиции”^[106].

И все же причина очевидного страха социологии перед юмором, насмешкой, остроумием, наконец, на наш взгляд, более глубока. Да и только ли социологии? А отечественной юриспруденции, истории, политологии? За исключением немногих дисциплин (философия, литературоведение, психология) картина представляется весьма унылой и скучной. И причиной здесь может быть лишь всепроникающая идеология, представляющая собой чрезвычайно серьезную систему идей, веры, образа мыслей групп, таких как нация, классы, касты, религиозные секты, политические партии и т.д. И что парадоксально — несмотря на всю фундаментальность и серьезность всех идеологий, интегральность их предназначения, смех, в общем-то, разрушает их основу. Особенно безжалостен он к тотальной (господствующей) идеологии.

В марксистском отечественном обществоведении идеология перманентно включала в себя все компоненты интересов основных классов и социальных групп. Одновременно она содержала не только объективно-истинные, но и логичные представления. Носители последних обычно не выдерживают испытания критикой смехом. Вот почему изначально государство ограничивает деятельность всякого рода юмористов, фельетонистов, карикатуристов, парадистов, стараясь поставить их под свой неусыпный контроль.

Советская социология в период своего оживления в шестидесятые и последующие годы, как это ни грустно признавать, была частью господствующей идеологии. Отдельные попытки отхода от господствующих взглядов немедленно осуждались. И, разумеется, всем видным и не совсем видным ученым приходилось строчить стройными и одинаковыми перьями вполне выдержанные статьи и книги.

Цитировавшийся ранее А.С.Ахиезер по этому поводу резонирует: “Борьба государственной серьезности и народного смеха всегда была неравной. Смех беззащитен под ударами топора серьезности. Однако смех неистребим, он везде и всюду, и топор слишком груб и неповоротлив, чтобы успеть везде... Социокультурные функции идеологии — обеспечение культурных предпосылок для воспроизводства каждой личностью интеграции общества. Но одновременно идеология может лишь серьезно относиться к массовому сознанию, включая и то, что в нем, с точки зрения идеологии, несерьезно, т.е. смеховую культуру. Ее признание неизбежно и одновременно смертельно опасно для идеологии, тщательно скрывающей тайну, так как именно смех важнейших фактор ее разоблачения”^[107].

Интересными представляются в этой связи некоторые высказывания самих российских

СОЦИОЛОГОВ.

Так В.Н.Ольшанский в ретроспективной статье “Были мы ранними...” вспоминает, что уже в хрущевские времена люди стали говорить вслух то, о чем прежде только шептались.

“...И вот накануне пленума райкома черт дернул меня рассказать кому-то анекдот: мол, привел Бог к Адаму Еву и сказал — выбирай себе жену. Из моих слов следовало, что нелепо созывать пленум, чтобы из одной кандидатуры “выбирать”, надо бы предложить хотя бы еще одну кандидатуру. Донесли, еще и прибавили. Разразился скандал. Люди, с которыми еще вчера был “на ты”, с кем вместе выпивали, теперь при встрече не узнавали меня, делали каменные лица. Вызвали на бюро, посадили на “позорное” место — в конце стола”^[108].

Признаемся, что гонения на социологию, также как и на другие общественные науки, отнюдь не прекратились и после распада коммунистической системы, приобретя, впрочем, более тонкий и изощренный характер. Здесь и избранность в поддержке тех или иных групп ученых, здесь и нищенские зарплаты для неугодных и баснословные оклады для своих сторонников.

Причины здесь довольно глубоки, они лежат и в природе общественных наук, и в практике, сложившейся на протяжении всей российской истории XX века. Но вместо конкретного анализа сложившейся ситуации, среди многих коллег, в том числе представителей естественно-научных дисциплин, сложилось мнение об односторонности и даже бесполезности гуманитарного знания. “Болтуны”, “банкроты”, “идеологи”, “обманщики” — таков типичный набор терминов, относящихся к нынешним представителям гуманитарной профессии. В подобных оценках, как правило, отсутствует какое-либо знание о тех или иных разработках и публикуемых книгах, однако на суждениях критиков это мало отражается. Главное же — это полное непонимание изменчивости опыта социологических исследований, его сложности и многомерности.

Академик Л.Абалкин пишет по этому поводу: “То, что было верным в свое время, сегодня может оказаться ошибочным. И наоборот. И дело здесь не только в глубине познания (это имеет место во всех науках), но прежде всего в качественном изменении самого изучаемого объекта.

У многих еще на памяти упреки в адрес выдающихся мыслителей XVIII века в том, что они не понимали революционной роли пролетариата. Сегодня эти упреки не могут вызывать ничего, кроме сожаления и горькой улыбки. Но разве справедливее, к примеру, обвинять марксизм в непонимании роли научно-технической революции и ее влияния на радикальное изменение социальной структуры общества?

Настоящая беда для науки начинается там и тогда, где и когда ее выводы объявляются непререкаемыми, происходит их превращение в догмы, в символ веры. Здесь науке приходит конец. Она уступает свое место социальной религии, или, если хотите, идеологии”^[109].

Применительно такая картина складывается при подмене собственно социологии социологическими опросами. Но об этом более подробно.

Опросы. Общественное мнение, зачастую не имеющее возможности выразить себя публично, все же оценивает происходящее довольно верно. Декабрист М.С.Лунин в свое время писал: “Народ мыслит, несмотря на глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушать мнения, которые мешают ему

выразить”^[110].

Потенциал общественного мнения склонен к накоплению, и в зависимости от степени благоприятности его проявления либо “сжимается как пружина”, либо преобразовывается в оценки и суждения. Иногда при отсутствии естественных форм проявления (через адекватные действия властей, например) оно начинает проявляться через действия других механизмов (литература, публицистика, пьесы и т.д.). При этом “зачастую эстетические характеристики художественного произведения сознательно приносились в жертву его идеологическому контексту, чтобы придать ему функцию выразителя общественного мнения”^[111].

Естественно, что само общественное мнение внимательно, как пациент за врачом, следит за попытками измерить и выразить его собственные основные признаки. Чаще всего, с учетом русского менталитета, оно доверяет всякого рода оценкам, появляющимся в средствах массовой информации, чем беззастенчиво пользуются некоторые (далеко не все!) социологи и журналисты. Население, не разбираясь в тонкостях техники опроса и возможностей его многовариантной интерпретации, на интуитивном уровне чувствуют, что его неверно представляют, реагирует довольно неопределенно, двойственно. Лишь некоторые исследователи фольклора, например, иногда находят чисто социологические термины:

Эй! Айда на сеновал:
Почитаем Конта!

Вроде все с собою взял?

Ой, забыл стакан–то!

К сожалению, трудности в поиске соответствующей рифмы кажутся для сочинителей фольклора неразрешимыми:

Провела бы я опрос,
Да у милого понос.

Провела бы плебисцит,

Да миленок что–то спит^[112].

В художественной литературе насмешки над исследователями, кажется, выглядят более квалифицированно:

Сергей Довлатов так описывает диалог автора предполагаемой монографии “Секс при тоталитаризме” Натана Зарецкого с некой Марусей.

“И дальше, повернувшись к Марусе:

— Сколько вам лет?

— Тридцать четыре.

— Замужем?

— В разводе.

— Имели половые сношения до брака?

— До брака?

— Иными словами — когда подверглись дефлорации?

— Чему?

— Когда потеряли невинность?

— А-а... Мне послышалось — декларация...

Маруся слегка покраснелась. Зарецкий внушал ей страх и уважение. Вдруг он сочтет ее мещанкой?

— Не помню, — сказала Маруся.

— Что — не помню?

— До или после. Скорее все-таки — до.

— До или после чего?

— Вы спросили — до или после замужества.

— Так до или после?

— Мне кажется — до.

— До или после венгерских событий?

— Что значит — венгерские события?

— До или после разоблачения культа личности?

— Вроде бы после.

— Точнее?

— После.

— Хорошо. Вы занимаетесь мастурбацией?

— Раз в месяц, как положено.

— Что — как положено?

— Ну, это... Женские дела...

— Я спрашиваю о мастурбации.

— О, Господи! — сказала Маруся ^[113].

Ситуация с элементами недоверия к опросам складывалась в обществе постепенно, по мере расширения масштабов социологических исследований.

Но уже в “перестроечные” годы Г.С.Батыгин довольно точно воспроизвел ситуацию в тогдашнем профессиональном сообществе:

“Соответственно социальному заказу быстро сформировался социологический “истэблишмент”, придавший валу анекдотам академизм и напыщенность. Социологи уже не утруждают себя сбором информации, вопросники рассылаются через партийные органы нижестоящим организациям с инструкциями по заполнению и указанием сроков возврата. По приблизительной оценке, сегодня в стране подвергаются опросам около полутора–двух миллионов человек. Сотни тысяч таблиц подшиваются в отчеты и где-то лежат. Когда-то социологи коллекционировали курьезные анкетные вопросы типа “Что вы делаете с женой, когда остаетесь наедине?” с подсказками ответов: “смотрим телевизор”, “беседуем о прочитанной книге”. Или другой вариант: предлагается указать пол ближайших родственников, при этом перечисляются теща, тесть, бабушка, бабушка... Со временем стало не до смеха, потому что вопрос “Успели ли вы вовремя перестроиться?” убивает остатки оптимизма”^[114].

В чем же основные трудности, с которыми довольно неожиданно встретились и социологи, и население? При ответе на этот вопрос заметим, что респондент обычно рассматривается исследователем в качестве лишь **объекта** познания, причем нередко забывается о том, что он и его субъект (“субъект–объект”, “субъект–субстанция”, по Гегелю). При таком положении остается мало надежды отличить научно–реалистические результаты работы от мифических или утопических. Именно поэтому квалифицированный социолог обычно воздерживается от рекламы своей работы в качестве “научного прогноза”, а называет ее просто предположением, прорицанием и другими менее обязывающими терминами.

Российское же общество в последние годы на себе испытало все последствия социологического субъективизма. Особенно это стало заметно в период предвыборных кампаний 1993 и 1995 годов, когда политика непосредственно повлияла на позиции социологов. Неудачу с предсказанием итогов парламентских выборов в декабре 1993 года некоторые исследователи назвали “российской катастрофой”^[115].

Именно тогда первые попытки русских исследователей спрогнозировать результаты многопартийных выборов оказались крайне неудачными, что нанесло еще неукрепившемуся авторитету социологов непоправимый ущерб. Именно с тех пор насмешки над неудачниками стали довольно постоянным явлением.

Реакция официальных руководителей социологических сообществ на неудачу своих коллег была чрезвычайно вялой и лишь несколько независимых исследователей опубликовали довольно язвительные статьи в адрес “неудачников” и представителей средств массовой информации.

Наиболее важным представляется мнение самого российского электората. Здесь наблюдается два различных подхода как к участию в самих выборах, так и к кампании, предшествующей им. Одна часть сохранила доверие к выборам, другая сформировала специфическое негативное отношение и к выборам, и к политическим организациям, да и к самим политическим опросам.

Эти два различных мнения электората выражаются всевозможными способами (неучастие или участие в выборах, голосование за “меньшее из зол” и т.д.). Что касается опросов, то на фоне общего “скептического” консенсуса всех избирателей наблюдается раздражение. Этот феномен заметен в средствах массовой информации, особенно оппозиционных. Если ранее опросы вызывали общее любопытство и снисходительное отношение, а также легкий юмор,

то после 1993 года ситуация заметно изменилась.

В прессе еще до фиаско политических опросов в конце 1993 года появлялись такого вида таблицы:

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

1. Не знаете ли вы другой страны, где так вольно дышит человек? Знаю — 52%	3. Брюзжите ли вы на советскую власть? Брюзжу — 97%	6. Михаил Сергее- вич Горбачев, что Вы пожелаете на- шей стране? Я не Горбачев — 99,98%	ему мозги — 59%
Это Израиль — 26%	4. Куда летит наш паровоз? Вперед — 10%	Я желаю, чтобы победила пере- стройка — 0,01%	8. Какого хрена вы здесь ходите? Не ваше собачье дело — 33%
Это Латвия — 13%	Издаетесь? — 9%	Назад — 20%	Я Лигачев — 0,01%
Отлетал свое — 70%	7. Скоро ли насту- пит коммунизм? Уйди, зараза — 16%	Ваше дело — собачье — 33%	9. Ты кто?
2. На сколько про- центов, по вашему мнению, должны возрасти доходы трудящихся? На 10% — 10%	5. Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Сижу дома — 15%	Пошел ты в... — 25%	ЧЕ? — 100% ^[116]
На 90% — 90%	Иду в ресторан — 14%	В Одессе есть улица Дерибасовская. Дойдя по ней до Привоза, в седьмом ряду слева купи чер-	
На 200% — 200%	Уйди, противный		

— 21%

ного петуха и

Я юноша — 50%

компостируй

Мягкие юмористические тона заметно сменились насмешливыми замечаниями, а иногда и откровенными издевательствами над “бедными” учеными. Появились едкие карикатуры и безжалостные фельетоны, срамные анекдоты и двусмысленные социологические термины (“интервью” вдвоем, измерение длины и толщины “рейтинга”, панельное исследование — на “панели” и т.д.).

Публика стала постепенно разбираться и в технических тонкостях опросов и соответственно реагировать на них. Так сама формулировка вопроса в интервью стала обыгрываться юмористами следующим образом:

“Как вы относитесь к домам терпимости?” — спросили папу римского, прибывшего в одну из стран. “А разве они у вас есть?” — ответил папа.

После этого в газетах появилось экстренное сообщение: “Первое, что спросил папа, ступив на нашу землю, есть ли у нас дома терпимости?”

Или двусмысленная формулировка двух других вопросов:

1. “Нужен ли нам президент, которому пора в отставку?”

2. “Какой у нас прекрасный президент, не правда ли?”

Рейтинг неудачливого бывшего главного милиционера Москвы был детализирован в следующем вопросе:

Кем бы вы хотели видеть А.Мурашева после отставки от должности начальника Московского ГУВД?

Ответы: постовым (32%), участковым (21%), тренером Гарри Каспарова (8%). Остальные не смогли ответить, т.к. не вспомнили, кто такой А.Мурашев^[117].

На вербальном уровне техника опроса выглядит еще более упрощенно:

Вопрос: После возможной отставки министра Козырева, куда он смог бы пойти работать?

Ответы: Пошел бы он на... 18%

Пошел бы он в... 17%

Пошел бы он к... 12%

Затрудняюсь в поисках места 53%

(записано в ноябре 1995 г.)

Социологические рейтинги также не избежали едких насмешек. Так при определении наиболее перспективных политических фигур 1991 года выяснилось следующее распределение ответов опрашиваемых: Мурашев А. — 3,5%, отец Глеб — 1,5%. Затрудняюсь ответить — 95%.

Недоверие к результатам опросов общественного мнения со стороны самой общественности легко объяснимо. Оно совершенно определено, хотя иногда по-прежнему интуитивно, улавливает все нарушения общих условий опроса со стороны исследователей. Эти условия, по В.О.Рукавишникову, таковы:

- 1. Люди обладают достаточной информацией по данному вопросу.*
- 2. Люди готовы ответить без эмоциональных реакций.*
- 3. Детальный анализ ответов на взаимосвязанные вопросы выявляет некоторую связь в ответах^[118].*

Подмечен и другой недостаток опросчиков, которые подробно описывают колебания общественного мнения, забывая о нисходящей амплитуде, “умирании” популярности того или иного лидера. Такие политические деятели как Т.Гдлян, Н.Иванов, А.Мурашев, Г.Старовойтова, Г.Якунин и др. постепенно лишаются симпатии и внимания общественности, что совершенно не отслеживается опросчиками. Некоторые же фигуры искусственно (Т.Гайдар, например) поддерживаются явно и с откровенно политическими целями. Населению они давно неприемлемы, но их рейтинги либо умалчиваются, либо преувеличиваются. И если социологам в этой ситуации избежать насмешек нельзя, то привыкнуть вполне можно.

ОЧЕРК ОДИННАДЦАТЫЙ

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИСТЫ

Экономика — довольно мрачная наука, что в какой-то степени объясняет низкую популярность ее известных представителей. Однако известно, что преподаватели этой дисциплины, наряду с преподавателями военных кафедр, пользуются повышенным вниманием студентов. Кроме того, все печатные средства массовой информации не обходятся ни дня без карикатур, посвященных либо конкретной экономике, либо ее теоретику. Зачастую насмешки над экономистами преобладают над всеми другими, включая политиков, военных, преступников, проституток, хулиганов и т.д. Обычно это случается в период кризисов или стагнации экономики. Именно тогда они становятся персонажами, известными всему населению.

Экономика глазами населения

Послереволюционная и последующая жизнь советского народа была трудна и иронична. Официальная литература воспринимала экономические проблемы как временные, а неофициальная — фольклорная — с откровенной насмешкой. В ней отражалась подлинная печаль и одновременно радость со всеми ее проявлениями, радость, смешанная с народным озорством.

“Экономическая” частушка, к примеру, оказалась не менее живучей, чем “эротическая”. Она не только показывала “успехи” колхозного хозяйства, но и нещадно его обличала. При желании по содержанию этих частушек можно легко проследить историю сельскохозяйственного производства в стране.

Продразверстка (20–е годы)

Едет Троцкий на телеге,
А телега — на боку.

— Ты куда, очкаста рожа?

— Реквизировать муку!

Колхозы (30–е годы)

Слева — молот, справа — серп,
Это — наш советский герб.

Хочешь жни, а хочешь — куй,

Все равно получишь ...!

Война (40–е годы)

Как мне выпала на долю
Горе-испытания:

Увезла меня в неволю

Чертова Германия!

Надоела мне баланда,

Ежедневная еда.

А ещё мне надоело

По-немецки: “Ком-сюда”.

Послевоенная Россия (40–50–е годы)

Вот и кончилась война,
И осталась я одна:

Я — и лошадь, я — и бык,

Я — и баба, и — мужик!..

Хрущевская Россия (60–70–е годы)

Мы Америку догнали
По надою молока.

А по мясу мы отстали —

... сломался у быка.

Я бычка сдала колхозу

И буреночку свою.

И теперь на каждой зорьке

Нашу курицу дою.

Брежневская Россия (70–е годы)

Стала жить — не тужить —
Я богаче прежнего.

Разлюбила я Хрущёва,

Поллюбила Брежнева.

Горбачевская Перестройка (80–е годы)

Соль и сахар по талонам,
Очереди длинные.

А у наших депутатов —

Речи соловьиные.

Перестройка, перестройка

Взбаламучена страна.

Ты за водкою постойка–ка,

Окосеешь без вина.

Гайдаровские реформы (90–е годы)

Раньше мясо клали в щи,
Были мы — товарищи.

А как кончилась еда,

Все мы стали — господа!

Мой миленок–демократ

Покупал мне виноград.

Сотни были дадены

За две виноградины^[119].

Несколько по-иному, более конкретно воспринимают ситуацию представители специфических профессий. При взаимодействии преподавателей экономики со студентами юмор становится важной формой коммуникации как в обыденной жизни, так и в специальном аспекте. Представляются важными несколько особенностей подобного взаимодействия. Во-первых, юмористическое общение требует немедленного ответа как от преподавателя, так и от студента.

“Профессор на экзамене просит студента привести пример закольцованного мышления. Студент отвечает: “Мы, например, продаем за рубеж нефть, газ и лес. А покупаем трубы, буровые станки и топоры. Чтобы продать как можно больше нефти, газа, леса... Чтобы купить трубы, буровые станки и топоры!”

Во-вторых, при юмористическом общении сокращается имеющаяся ролевая дистанция, что немаловажно для усвоения полученных знаний. На выпускном экзамене профессор спрашивает студента о реальном курсе фунта, рубля и доллара. Студент отвечает, что фунт рублей стоит один доллар. И, наконец, в-третьих, возникающие двойственные образы позволяют участвующим в занятиях лицам изобретать различные варианты ответов, в том числе и в виде парадокса.

В экономической школе идут занятия. Игровая установка: продавец добавляет в пиво воду. Вопрос: каковы будут финансово-экономические последствия? После долгого раздумья один студент поднимается и говорит:

— Если в пиво добавлять воду, то выручка возрастет прямо пропорционально объему воды, вытеснившей пиво.

При взаимодействии по горизонтали (“экономист” — “экономист”) сохраняется корпоративная сдержанность при обычной недоброжелательности друг к другу.

Один из директоров Института Отделения экономики РАН вызывает секретаршу.

— Что Вы написали этому бездельнику — академику N? “Дорогой товарищ!” — и это консерватору, разбойнику и мошеннику! Перепечатайте это письмо.

— Хорошо. А какое же обращение следует употребить?

— Напишите “Дорогой коллега!”

Что касается других интеллигентных групп, к примеру журналистов средств массовой

информации, то у них наблюдается некоторое понимание и снисходительность. Говорят, что в Аргентине несколько лет назад диктор, обращаясь к национальной аудитории, сказал следующее:

— *Уважаемые телезрители, сядьте поудобней, отодвиньте, пожалуйста, от себя все тяжелые предметы, которые вам захотелось бы бросать в телевизор. Сейчас перед вами выступит премьер–министр и объявит, что у нас начался подъем экономики.*

Англичане более лояльны, чем латиноамериканцы, и их юмор скорее снисходителен, чем агрессивен.

— *Что такое экономист, Смит?*

— *Экономист — это человек, который знает о деньгах больше, чем те, кто их имеет (англ.)^[120].*

В научной литературе объектами сдержанных шуток, как правило, является экономическая теория, исследовательские методы и сама профессия экономиста. Излюбленной же темой стало взаимоотношение между экономическим эффектом и нравственностью общества. Еще в начале XVIII века Бернард Мандевиль в своей “Басне о пчелах” заявил:

Чтоб стать народ великим мог,
В нем должен свить гнездо порок;

Достаток — всё тому свидетель —

Не даст ему лишь добродетель^[121].

Адам Смит, как известно, сделал выбор в пользу экономики, считая, что корысть и эгоизм товаропроизводителей в конечном итоге в пользу всей нации, включая всех нуждающихся. Многочисленные последователи известного английского экономиста, включая и наших Гайдара и Чубайса, в рынке с некоторыми модификациями видят высшую нравственность.

Книга Д.Джилдера “Богатство и бедность”, посвященная моральному одобрению преуспевающих дельцов, сразу же после выхода (нач. 80–х годов) вызвала град насмешек. “Экономист” в своей рецензии на книгу писал: “По–видимому, блаженны деятели денег, ибо назовут их отцами капитализма, блаженны лоснящиеся от жира, ибо обретут они мир”^[122].

Односторонность мысли, упрощенчество, отрыв от реальности постоянно возбуждают критиков различных экономических теорий. Особенно преуспели в ней Лоуренс Питер, Б.С.Норткот Паркинсон, авторы знаменитых “принципа Питера” и “закона Паркинсона”. В частности принцип Питера для деловых людей гласит:

“Если вы действуете в нарушение правил, вас штрафуют; если вы действуете по правилам, вас облагают налогом”.

В российских условиях он неприменим, во всяком случае, его первая посылка. Перефразировка может быть такой:

“Если вы действуете в нарушение правил и не делитесь доходами, вас отстреливают, если вы действуете по правилам, вас сочтут обычным идиотом”.

И все же наши “новые русские”, даже если они откровенные мошенники, считают себя

“солью земли”, а остальных абсолютно “неприспособленными людьми”, “совками”. Жаль только, что некоторым из них удается внедрить в обыденное сознание вполне серьезное и уважительное представление о себе.

Если хочешь жить
нормально,

Поживи ты аморально,

Поживешь ты аморально,

Вот и будешь жить

нормально^[123].

Но при возврате к тексту принципа Питера обнаруживаем следующее изречение: “Чтобы избежать ошибок, надо набраться опыта; чтобы набраться опыта, надо делать ошибки”^[124]. В случае пребывания экономиста–журналиста Т.Гайдара на посту премьера случилась типичная ситуация, когда уровень некомпетентности совпал с уровнем незаменимости, т.е. мы имели дело со странной аномалией — незаменимым некомпетентным работником. Если его устранять — будет большая беда. Если сохранять — не избежать большой беды. Так, в общем, и случилось при замене прославленного экономиста управленцем–практиком из Газпрома.

Оценка экономистов со стороны массового и некомпетентного читателя была бы явно односторонней и недостаточной. Нам остается выяснить, что думают о себе сами представители этой специальности. К сожалению, типичные юмористические работы экономистов трудно найти, хотя бывают и удачи.

Экономисты смотрятся в карманное зеркало

Сенека однажды заметил, что как только он пожелает увидеть глупца, то всегда глядит в зеркало. Примерно такую “отражательную” функцию и предназначена выполнить небольшая книга, изданная к 30–летию образования ЦЭМИ РАН — Центрального экономико–математического института (см.: Под листом Мебиуса (тридцать лет спустя). М., 1993). Ее многочисленные грустно веселящиеся авторы и составители, не зная упомянутый выше афоризм незадачливого воспитателя Нерона, оказались смелыми людьми. Настолько смелыми и одновременно мудрыми, что решились опубликовать свой “цэмистский” фольклор аж в 2–х частях и множестве глав, где первая из них — самая социологическая, вторая — самая историческая, а третья — самая–самая экономико–математическая. Тем самым цэмисты (по терминологии коллег из окружающих институтов), или цэмисты (собственное обозначение), утерли нос не только социологам, филологам, юристам, востоковедам и прочим “философам”, но и многим естествоиспытателям с их давно устаревшими профессиональными байками (сборники “Физики шутят”, “Физики продолжают шутить”, “Физики уже не шутят”).

Разумеется, что нас — ближних соседей ЦЭМИ из ИСРАНа — “исранистов” (по новой терминологии коллег из окружающих институтов) или “исрановцев” (по терминологии, существовавшей до переименования АН СССР в РАН), естественно, привлекли научно–литературные достоинства первой части этой замечательной книги. Замечательной, хотя бы по той причине, что само по себе интригующее название, несомненно, привлечет более широкий круг читателей, чем предполагали сами составители. Среди читателей наверняка окажутся все математики и экономисты (как–никак — “Под листом Мебиуса”). Эта эмблема

листа над стеклянным зданием института, однако, давно привлекает не только представителей означенных выше специальностей, но и многих медиков, в частности, психиатров, отоларингологов, гинекологов... Так что книга сразу стала бестселлером и выключить ее у составителей удастся лишь с нескольких попыток.

Часть первая содержит анкету экс-ЦЭМИста, которая заполнялась респондентами в зависимости от наличия известного чувства в серьезной и полусерьезной форме. Были предложены следующие вопросы, которые сотрудники ИСРАНа могут оценить со своих высоконаучных позиций:

I. После ЦЭМИ стали ли Вы лучше:

1. Мыслить?
2. Чувствовать?
3. Действовать?
4. Относиться: а) к людям? б) к себе?
5. Чувствовать себя: а) физически б) психологически?
6. Зарабатывать?
7. Отдыхать в сфере: а) литературы, искусства; б) физкультуры, спорта?
8. Питаться?
9. Спать?
10. Вообще жить?

II. После ЦЭМИ что было для Вас наиболее интересным (занятие, местонахождение, ...)?

III. Что в ЦЭМИ было, по Вашему мнению,

1. Наилучшим?
2. Наихудшим?

Данные обследования, сведенные в неподдающуюся комментарию таблицу, наверняка кого-нибудь заинтересуют. Более того, что ответы “да” и “нет”, “хуже” и “лучше”, “меньше” и “больше” после математической обработки могут быть использованы в годовом отчете института Президиуму РАН. Что касается иранистов, то их, по-видимому, привлекут развернутые ответы (“разминки”) на вопросы, связанные с самочувствием респондентов, их воспоминаниями о прежней счастливой жизни в институте. Наиболее типичными в этой связи представляются ответы экс-министра экономики Российского правительства, кандидата экономических наук А.А.Нечаева. Приведем полностью ответы этого господина на первый и второй блоки вопросов.

“1... 1. Мыслить? Мыслить стал свободнее и шире. Не исключено, что это иллюзия, связанная с уменьшением числа непосредственных начальников-проверяющих при резком

возрастании слушателей–исполнителей. 2. Чувствовать? Чувства, увы, стали больше подчиняться разуму и лимиту времени. 3. Действовать? Решительнее и ответственнее. Не исключена иллюзия, описанная в п. 1.4. а, б...? Относиться к людям — добрее, к себе — строже. 5. а, б...? При 85–часовой рабочей неделе физическое состояние предопределено, хотя неизбежно уходит из числа первоочередных забот, отчасти компенсируясь психологической уверенностью и отчаянным спокойствием по отношению к вещам, ранее вызывающим раздражение. 6. Зарабатывать? Доходы увеличились многократно, но отстают от темпов инфляции. 7. а, б...? Отдых исчез из числа актуальных понятий, см. п. 5. 8. Питаться? Регулярно. 9. Спать? Реже и короче, но с большим удовольствием. 10. Жить? Разнообразно, см. п. 1–9.

II. Интересным? “Самое интересное в последнее время — участие в разработке и реализации программы реформ для России. Мы взяли за нее ради пробы пера и упражнения профессионального ума, но так увлеклись, что “перевернули” не только правительство, но и всю страну. “Взятие Госплана” — куда я был отправлен с мандатом, но без маузера и отряда матросов”.

В самом деле, ведь это чрезвычайно интересно — “ради пробы пера и упражнения профессионального ума” перевернуть и правительство, и всю страну. А мы–то, социологи, даже и не мечтали о чем–либо подобном... Жаль, конечно, что и при таких необыкновенно привлекательных поступках (взятие Госплана без маузера) доходы столь важного лица все же отстают от темпов инфляции. Мало все–таки платят нашим героям. Уходить им надо в частные коммерческие структуры. Не работать же за нищенскую зарплату министра, как Сашка Шохин, которому и отвечать–то на анкету некогда. Жену подослал, вице–премьер несчастный!

Читатель будет несколько удивлен и иными откровенными ответами известных ему респондентов: Б.А.Грушина, Б.В.Ракитского, Н.М.Римашевской, Б.Г.Салтыкова, А.Г.Фонотова, Е.Г.Ясина,.. искренность и истинность которых несомненна. Объясняется подобный феномен не только высокими личностными качествами опрашиваемых, но и некоторым влиянием юбилейного климата — можно расслабиться. Расслабиться и вспомнить отдельные знаменитые высказывания:

Академик Н.П.Федоренко — “За цэмизацию народного хозяйства!” “Что увидели у нас плохого — скажите нам, что увидели хорошего — расскажите людям”. Д–р. экон. наук В.А.Маш — “Какой эффект ты нанес народному хозяйству!”. Д–р. экон. наук В.И.Данилов–Данильян — “Жизнь линейна или невыносима”. Название праздничной стенгазеты лаборатории д–ра экон. наук Б.П.Суворова — “К зияющему оптимуму!”

Заметим — юмор цэмистов не агрессивен, что не мешает ему, однако, использовать военные марши, сочиненные сотрудниками института, марш ветеранов института, а также марш тимуровцев:

Гайдар шагает впереди

Слушай, товарищ, продукты кончаются,

В очередях потребители маются,

Пусто в желудках — надежда в груди:

Гайдар шагает впереди!

В соревновании с США и Европою

Мы оказались с голою шляпою^[125].

Но лишь вперед ты, товарищ, гляди —

Гайдар шагает впереди!

Страной управляет Бурбулис с Пияшевой.

Что с нами будет? — Лучше не спрашивай.

Пропась раскрылась у нас на пути.

Гайдар шагает впереди!

Заметим, что цэмисты при каждом удобном случае выражают нам, социологам, свои симпатии. Особенно привлекают личности, мимолетно овладевшие их вниманием. До сих пор ходят, например, легенды о нынешнем гражданине США В.Шляпентохе. Последний, работая какое-то время в Новосибирске, дал согласие уговорить А.Г.Аганбегяна быть оппонентом у Арона Иосифовича Каценелинбойгена. Придя на новосибирский почтамт, В.Шляпентох попытался дать телеграмму следующего содержания: “Москва. ЦЭМИ. Каценелинбойгену. Аганбегян согласен”. (Тут же телеграфистка на него подозрительно посмотрела.) Но когда она увидела подпись “Шляпентох”, то бросила обратно телеграмму и сказала: “Шифровок не принимаю! Тут всего одно нормальное слово — “согласен””. В.Шляпентох оказался персонажем и другого академического скандала, выдумав по ходу социологической конференции в Тбилиси (середина 60-х годов) так называемую теорию “курбативности”. Выступающие, впервые услышав этот термин, сразу же отметили достоинства и недостатки теории. И лишь в конце бурной дискуссии экономист-социолог Шляпентох и физик Захаров застенчиво признались, что смысл этого слова они сами не понимают, так как придумали его всего несколько минут назад. В.Шляпентох тогда много занимался организацией службы знакомств (“Электронная сваха” и в отместку получил в “Правде” реплику, смысл которой был примерно таков: «Пусть Шляпентохи любят электронным способом, а мы, советские люди, будем любить по-прежнему: “как Ромео и Джульетта”»). Такой вот неожиданный курбативный выпад.

Осталось в памяти сотрудников института и кипучая деятельность Т.В.Рябушкина, столь много сделавшего для демографии и социологии:

Солдатом был, деканом, лектором—
Студентов бывших распроси.

Четыре года был директором

Не где-нибудь — в самом ИСИ!

В науку шел широким трактом он,

И щедр, и весел был с людьми.

Незаменимым стал редактором

И возглавлял отдел в ЦЭМИ.

Вообще замечательными чертами сборника стали личностно направленный юмор, а также мягкость и доброжелательность его авторов. Достаточно прочесть “Балладу об ученом”, посвященную Нобелевскому лауреату Л.В.Канторовичу, или посвящения докторам С.А.Айвазяну, К.А.Багриновскому, В.А.Волконскому, К.Р.Гофману и др., чтобы убедиться в истинности этого вывода. Не усомнится в нем и академик С.С.Шаталин, получивший

напутствие от коллектива в таком виде:

Труд заводской и труд колхозных пашен
Относим мы к понятию затрат,

Но не важны затраты людям нашим,

А важен им конечный результат.

И мы идем от угля и от стали

К пансионатам, баням и кино,

Где Станислав Сергеевич Шаталин

Обосновался прочно и давно.

Летя на крыльях Комплексной программы,

В двухтыща сотый пробивает путь,

Соизмеря койку с килограммом,

И про рубли, Шаталин, не забудь.

Не дай нам бог, чтоб не раскрылись дали

Прогнозов смелых долгожданный взлет.

Тогда вконец расстроится Шаталин

И весь отдел по матери пошлет (с. 32).

Другой вывод заключается в том, что уникальный сборник работ, несомненно, четко очертил границы столь специфичной группы, как коллектив академических экономистов. Если эта группа доказала, что имеет солидные традиции, то члены этой группы, естественно, наслаждаются общением и с удовольствием используют все символы, указывающие на принадлежность к ней. Идентичность легко достигается ими при помощи профессионального жаргона, шуток, афоризмов — символов, часто несравнимых и шокирующих окружающую публику. Легко понимаемые шутки служат не только взаимодействию внутри группы, но и, разумеется, отделяют последнюю от других. По-видимому, вне собственной культурной матрицы многие опубликованные шутки, анекдоты, нелепицы и проч. юмористические элементы в значительной мере потеряли бы свой смысл. Но все же сам факт объединения столь значимого для науки коллектива не только на базе профессиональных интересов, но и общностью чувств, представляет собой предмет острой зависти со стороны социологов, работающих всего в нескольких сотнях метров от стекляшки с наклеенным сверху листом Мебиуса.

ОЧЕРК ДВЕНАДЦАТЫЙ

АРМЕЙСКИЙ ЮМОР

Для любого редактора журнала характерна хроническая нехватка времени для развлечений. Но случилось так, что в то самое время, когда редколлегией журнала “Социологические исследования” было принято решение о формировании номера, посвященного в основном военной социологии (1993 г.), я перечитывал Я.Гашека. Его книга “Приключения солдата Швейка” была раскрыта на том месте, где некий полковник перед строем наказывал Швейка и вольноопределяющегося Марека^[126]:

“Полковник остановился перед вольноопределяющимся. Тот отрапортовал:

— *Вольноопределяющийся...*

— *Знаю, — сухо сказал полковник, — выродок из вольноопределяющихся... Кем были до войны? Студентом классической философии? Стало быть, спившийся интеллигент... Да-с, — продолжал полковник, снова обращаясь к вольноопределяющемуся, — и с таким вот господином студентом классической философии приходится мारаться нашему брату. Кругом! Так и знал. Складки на шинели не заправлены. Словно только что от девки или валялся в борделе. Погодите, голубчик, я вам покажу.*

— *В каре!* — *скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом.*

— *Посмотрите на этого человека, — начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольноопределяющегося. — Он пропил вашу честь, честь вольноопределяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой, навстречу славе на поле брани. А куда повел бы своих солдат этот пьяница? Из кабака в кабак! Он один вылакал бы весь солдатский ром... Что вы можете сказать в свое оправдание? — обратился он к вольноопределяющему. — Ничего? Полюбуйтесь на него! Он не может сказать в свое оправдание ни слова. А еще изучал классическую философию! Вот действительно классический случай! — Полковник произнес последние слова нарочито медленно и плюнул. — Классический философ, который в пьяном виде по ночам сбивает с офицеров фуражки! Туп! Счастье еще, что это был какой-то офицер из артиллерии”*^[127].

Несомненно, что приведенный монолог полковника представляет собой очевидную основу для классификации военными социологами собственной науки. И похоже, Гашек уловил также и социологический подход к исследованию армии. В самом деле, достаточно ознакомиться с материалом Международной Социологической Ассоциации “Вооруженные силы и общество”, чтобы предположить, что его авторы наверняка читали Гашека. Иначе почему они выдвинули три основных направления в социологическом исследовании вооруженных сил: во-первых, военная профессия и военная организация, во-вторых, отношение военных к гражданским и наоборот, и, в-третьих, социология войны и внутригрупповой армейский конфликт^[128]. Все они легко прослеживаются во взаимоотношениях главных персонажей романа.

Гашек потешается над определенной австро-венгерской армией и вместе с ним смеемся и мы, ибо для каждого из нас армия — часть собственной жизни. Многим пришлось испытать романтику армейской службы или сборов. Приобретенный там, бесценный, опыт породил не только любовь к общечеловеческим ценностям (еда, сон и питье), но и “классовую” любовь и преданность к умным и чрезвычайно тонким и деликатным командирам, — единственную любовь, которая запомнится до последних дней нашей грешной жизни. Но, кажется, в то

время военачальники “Мерседесов” не приобретали. Ну, это мелочь...

Но что кажется действительно важным — функции смеха вообще, независимо от того, каковы его причины, — замечу: армию нельзя представить без юмора.

Олицетворяя механическую или электронную мощь, она была бы обречена на саморазрушение в случае абсолютной серьезности. Отсутствие смеха, впрочем, гипотетически возможно. В том случае, когда лишь роботы заменят “живую силу”, способную страдать, гневаться и смеяться. Л.Карасев в своем упомянутом ранее философском эссе считает, что в европейском этнокультурном универсуме смех выступает как знак подчеркнута значимого деяния, имеющего в своих истоках феномен “героического” (подчеркнуто мной — *А.Д.*) мироощущения, отозвавшегося и в отношении к смерти у киников, и в судьбе Сократа, и даже в редкостной по своей каноничности версии-гиперболе, согласно которой Софокл скончался от смеха^[129].

Помните у А.Твардовского:

Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой

Без хорошей поговорки

Или присказки какой...

Любопытно, что в нашей военной социологической литературе отсутствует период, который можно было бы охарактеризовать как период шумливого оптимизма. Социологи обычно были унылыми людьми, методично вырабатывающими, как и большинство гражданских ученых, цинично серьезное отношение к жизни. Они становились весельчаками лишь во время симпозиумов, круглых столов, осушив предварительно пару стаканов отечественного горячительного за казенный счет. Но этот юмор не проникал в их книги.

И если бы не было случаев легкого помешательства у отдельных отечественных особей, жизнь была бы совсем скучной... Мы были бы и сегодня лишены возможности позабавиться разоблачением, например, одним известным социологом крупномасштабного заговора военных и кэббистов, вооруженных ну совершенно “путчистским манифестом”, написанного... своим коллегой. Разве можно отказать в удовольствии пощекотать себе и другим нервы страшной газетной “уткой”? Так что и социологам далеко не чужд солдатский юмор.

Но вернемся к шедевру армейской комедии. Солдата Швейка можно рассмотреть не как абсолютное отрицание специфичной общности — армии (социологический аспект) и не как “беспощадную критику австро-венгерской монархии” (политический аспект), а как обычное внутреннее противодействие, оппозицию простого человека навязываемым ему “героическим” стандартам поведения. Социальная значимость Швейка состоит не в отведенной ему роли, не в остроумных диалогах, а в самой сущности армейской службы — настолько бессмысленной и жестокой, насколько наивной и смешной. Недаром десятки авторов, и среди них Брехт (“Швейк во Второй Мировой Войне”), переносили образ маленького смешного солдата в иное время, но с обязательным предназначением представлять армию с ее властью и силой абсолютно беспомощной, если не глупой. Замечу, что некоторые социологи вообще считают, что деспотизму армии можно с успехом сопротивляться ненасильственно — не выполнять дурацкие приказы например, но это будет достаточно скучным занятием. Наибольший эффект производит показ несоответствия маленького смешного человека и строгой организации.

Придерживаясь классификации военной социологии, столь гениально намеченной докладом МСА, рискну продолжить ее, привлекая на помощь своеобразную “дуальную оппозицию”: серьезность — юмор. Она также сложна и аморфна, как и любая другая, и вряд ли сможет заставить сомневаться в серьезности могучего социального института. Многоликость же юмора (сатира, карикатура, ирония, комедия, парадокс и пр.) и его “язык” — смех — не смогут привести к неудаче в главном: единство выражения рождает “удивительную целостность, лишь на первый взгляд кажущуюся хаосом или бесконечно многообразным набором смеховых “монад”, существующих отдельно и независимо друг от друга”^[130]. Во всяком случае, никогда не следует упускать возможности улыбаться, штудируя наши серьезные книги и статьи.

Упомянутый выше материал МСА обращает наше нестойкое внимание прежде всего на **военный профессионализм и военную организацию**. Представители гражданской социологии, несомненно позаимствовав эти понятия у военных, называют это примитивно просто социологией профессии или социологией организации. Эти унылые традиционные для штатских социологов представления — симптом неизлечимой болезни — либо редукционизма, либо склонности к чрезмерному резонерству. Военный же профессионал компетентен, ответственен, корпоративен. Но, конечно же, армия, как и любой социальный организм, подвержена изменениям: она становится более интеллектуальной, открытой и социально-представительной. Доказательства? Сколько угодно... Составитель так называемых “солдатских хохм” В.Сметанин привел наиболее полный перечень высказываний военной элиты — преподавателей военных кафедр в вузах и училищах. Осмелюсь привести лишь некоторые из них:

— *Товарищи курсанты! Я к вам направлен из войск, а в войсках дураков не держат!*

— *Значение синуса в военное время может достигать четырех.*

— *Пусть число танков равно “икс” ... Нет, мало, лучше — “игрек”.*

— *Противогаз действует в радиусе 30 минут.*

— *Торпеда хранится в таком положении, чтобы ее нижняя часть была наверху. Чтобы не ошибиться, где верх, а где низ, на нижней части имеется надпись “верх”.*

— *Перпендикуляр подходит вон к этой прямой и ее сечет.*

— *Что вы, товарищ курсант, такой неровный квадрат нарисовали? Вы что, дальтоник?*

— *Товарищ студент, почему вы явились на занятия военной кафедры в штанах наиболее вероятного противника?*

— *Товарищ курсант, вы уподобляетесь африканской птице страусу, которая с высоты своего полета не видит генеральной линии партии.*

— *И он взорвал себя гранатой. К этому его готовила семья и школа*^[131].

Разумеется, этот “учебный” юмор легко очерчивает границы группы. И как полагается, символами данных групп могут выступать дисциплина (“Молчать! Я вас спрашиваю!”), уставы (“Возьмите уставы и перепишите все наизусть”), трепетное отношение к женщинам (“Из девушек-студентов мы должны сделать женщин-офицеров. Сначала займусь я, а потом и другие офицеры нашей кафедры”), культ чистоты в аудиториях (Начальник кафедры: —

Дежурный! Чей на полу окурков? Дежурный: — Ничей, товарищ генерал. Курите на здоровье!”). Вынесенные за пределы военной службы, эти высказывания несколько теряют свой глубочайший смысл. Тем не менее многие шутки, типичные для одной социокультурной среды, могут восприниматься и другими группами (рассказы о поручике Ржевском, Василии Ивановиче, Петьке и Анке, Штирлице и др.). Это ли не дополнительный признак все большей открытости армии к другим институтам общества? Функционально же юмор как элемент культуры регулирует поведение людей, и всякого рода шутки выражают доминирующие ценности общества и сокращают разницу в статусе. Сомневающимся рекомендую при встрече с генеральской семьей, а сейчас это более доступный способ общения (по плохо засекреченным газетным данным, генералы с домочадцами составляют приблизительно 16% населения России, занимая при этом 41,2% дачных участков), рассказать пару бородатых анекдотов об “ухах”, “увертюрах”, “гизах” и прочих словах, употребляемых генеральскими женами. За толерантное поведение собеседников при этом “ручаюсь здоровьем своих внучек”.

Две генеральши в театре:

— *Тише — увертюра!*

— *От увертюры слышу!*

— *Доктор, у меня уши болят.*

— *Вы жена генерала?*

— *Да, как вы узнали, по мехам?*

— *Нет, по ухам.*

Само собой разумеется, и это подтверждают коллеги — военная профессионализация под воздействием политических, экономических и технологических достижений претерпевает исторические изменения. Если раньше солдаты, по сути дела, были малообразованными людьми, а офицеры узкими специалистами (армейская “косточка”), то нынешний уровень техники кардинально изменил ситуацию. Надежность и выдержка российского офицерского состава вполне соответствует требованиям конца нашего столетия.

— *Идут совместные учения курсантов военно-морских училищ России и США. Рано утром капитан крейсера выстроил российских курсантов и кричит:*

— *Кто протирал пульт?*

Американцам этот тон не нравится.

— *А вот у нас в Америке...*

— *Да подождите вы! Я спрашиваю, кто протирал пульт?*

— *А вот у нас в Америке...*

— *Да нету больше вашей Америки! Ну кто же протирал пульт?!*

Примерно те же тенденции отмечаются и в теории **военной организации**. Известно, что на

мировом уровне традиционные армейские проблемы дополнились новыми: как вводить инновации и как сохранить организационную эффективность при сложной технологии. Впервые, на наш взгляд, с этими трудноразрешимыми задачами столкнулись хитроумные американцы. Литературные источники, во всяком случае, об этом свидетельствуют достаточно точно. А. Уорд (1834–1867) описывает прием правительственными чиновниками нового вида оружия таким образом:

“Последним орудием, подвергнутым испытанию, была горная гаубица совершенно новой конструкции. По словам изобретателя, ее великим достоинством было то, что для нее не требовалось пороха. Во время боя ее устанавливают на вершине высокой горы, и ядро свободно вкатывается в дуло. Когда противник проходит около подножия горы, дежурный артиллерист наклоняет гаубицу, и ядро скатывается по склону в самую гущу обреченных врагов. Дальноточность этого грозного оружия в большой степени зависит от высоты горы и расстояния до ее подножия. Правительство сделало заказ на 40 таких горных гаубиц, по сто тысяч долларов за штуку, для установки на первой же горной вершине, которую удастся обнаружить на неприятельской территории”^[132].

Использование новой техники, разумеется, требует достаточной квалификации со стороны офицерского состава. Возникающие при этом сложности довольно легко преодолеваются с помощью простых, доступных систем информации.

По океану плывет английских крейсер. Впереди всплывает советская подводная лодка. Ее капитан выходит наверх и кричит:

— *Эй, на крейсере, в какой стороне Австралия?*

— *Курс норд-ост, — отвечают ему.*

— *Да ты не выпендривайся, ты рукой покажи!*

* *

*

По-прежнему проникновенные умы военных и полувоенных специалистов будоражат **взаимоотношения** двух основных столпов общества: **армии и народа**. Их вдохновляют одновременно и благородные, и враждебные чувства и, признаю, последнее является чем-то трудноуловимым для любого исследователя. Несомненно одно — критика гражданских лиц редко направлена на конкретные личности, она просто констатирует явное несовершенство, свойственное всему живущему, дышащему, к тому же явно неорганизованному (“Если вы все такие умные, то почему строим не ходите?”).

Одним из первых социологов, кто обратил свое благосклонное внимание на проблему, был, конечно же, Ч. Райт Миллс. Наблюдая за хроническим увеличением расходов на оборону и централизацией средств осуществления власти, автор постоянно твердил о военном детерминизме, что, впрочем, мало беспокоило саму армию.

Военные, имея собственную организацию, чувство корпоративности и авторитарную власть, всегда имеют эффективные средства для свержения любого гражданского правительства. Поэтому — то социологи постоянно искали, как животные паразитов в своей шерсти, социальные и правовые нормы, регулирующие взаимоотношения между гражданскими и военными властями. Один из американских авторов вообще открыл связь между потребностью государственного строя в сильнодействующих нормах, предписывающих

контроль штатских над военными, с потребностью семьи в запрете на кровосмешение!^[133] Сеймур Липсет (а это был он!) нашел особо строгую норму в присяге — клятве повиноваться правительству. Впрочем, замечает он, упор на послушание связан с необходимостью обеспечить повиновение солдат своим командирам во время боя^[134]. Осмелюсь предположить, что последнее замечание высокочтимого политолога как раз и лежит в основе символики и ритуала, связанного с принятием воинской присяги.

Эта священная присяга (императорскому дому, его семье, президенту, народу Ботсваны, США или России или прочим социальным или социально–территориальным общностям) представляется каким–то особым, ни с чем не сравнимым индикатором служебной подчиненности.

Сакральность этого акта доставляет его участникам ни с чем не сравнимое физиологическое удовольствие.

— *Призывник говорит офицеру, что не будет принимать присягу потому, что он пацифист. Офицер пошел советоваться с начальством. Возвращается и говорит:*

— *Мне сказали, что хоть ты и педераст, а присягу принимать должен!*^[135]

Тема присяги, кажется, обогатилась последними событиями. Эти события, связанные с распадом СССР, подтвердили, что бывает довольно часто, одно из положений С.Липсета — “Там, где законность слаба, где армия не воспитана в традициях признания власти штатских, где в недавнем прошлом военным приходилось менять свою преданность одному режиму на преданность другому в результате получения страной независимости или революций, верность присяге не будет прочной”^[136].

— *Василий Иванович, будем принимать украинскую присягу?*

— *Нет, Петька, настоящий воин два раза присягу не принимает!*

— *Ну да? Сам же сначала присягал на верность царю, потом Ресэфэсээру...*

— *Точно... Ладно, одной присягой больше, одной меньше... Наливай, Петро, як тебе по батькові?*^[137]

Насмешка и гротеск как реакция на пафос и трагизм постоянно проявляется в различного рода спектаклях, кинофильмах, анекдотах, карикатурах. В рисунках, которые мы решились воспроизвести, армейская символика кажется вообще бессмысленной. В мировой литературе стала типичной комическая, глупая, если вообще не безмозглая, фигура военного министра.

Брежнев Л. — Слушай, Дмитрий! Партия требует от армии сокращения штатов.

Устинов Д. — Слушаюсь, Леонид Ильич! Начнем со штата Флорида!

Эта шутка, как и множество других (“Язов Д. неудачно стрелялся после провала путча, т.к. пуля расплющилась о лобную кость”, “десантник Грачев П. неоднократно приземлялся без парашюта”), является своеобразной реакцией на политическую пропаганду, внедряющую символы, по отношению к которым адресат испытывает либо положительные, либо отрицательные эмоции. Символом в таком случае может стать любая ценность, которая в процессе ее социального функционирования становится эмоционально закрепленной. В этом аспекте и следует, по–видимому, рассматривать и другие формы военно–политического

символизма — торжественные парады, знамена, пароли, мундиры, кокарды, ордена^[138].

Еврейский писатель Савела Эфраим приводит диалог между старшим политруком Кацом и новобранцем Цацкесом (в сокращении):

— *Цацкес, встать! Идите, Цацкес, ко мне. Вот здесь, на плакате, нарисовано наше красное знамя. Объясните мне и своим товарищам, из чего оно состоит...*

— *Знамя состоит из... красной материи...*

— *Не материи, а полотнища. Дальше.*

— *Из палки.*

— *Не палки, а древка.*

— *Что такое древко? — удивился Цацкес.*

— *Палка. Но говорить надо древко. Дальше, Цацкес.*

— *На конец палки, то есть... этого самого... как его... Надет, ну, этот. Как его... Можно сказать на идиш?*

— *Нет. По-русски, Цацкес, это называется наконечник. То есть то, что надето на конце*^[139].

Примерно то же самое происходит с символом “честь”^[140]. Литературная классика чрезвычайно богата его интерпретацией: А.Н.Толстой: “Я бывший офицер и человек чести”; Салтыков–Щедрин: “Он не имел понятия об офицерской чести. Напивался пьян и в пьяном виде дебоширил”; Симонов: “Из боя он должен был выйти последним — так он понимал свою командирскую честь”. Ныне эта честь подвергается еще более суровым и славным испытаниям:

Четвертые сутки — штабная шумиха:
Двоим офицерам грозит трибунал.

Полковник Голицын избил повариху,

Майор Оболенский пропил арсенал.

Полковник Голицын готов застрелиться,

Ревет повариха, рыдает жена.

Не падайте духом, полковник Голицын:

Майор Оболенский споил трибунал!!!^[141]

* *

*

Конечно, дискуссия о взаимодействии военных и штатских была бы неполной без изучения **конфликтов внутри армии**. На наиболее общем уровне они, разумеется, в какой-то степени

повторяют ситуацию, сложившуюся в той или иной стране. Межнациональные отношения в СНГ, например, почти зеркально отражены и в армейской среде. Примерно с такими же проблемами сталкивались и продолжают сталкиваться все многонациональные армии (Австро–Венгрия, Чехословакия, Югославия, СССР, Индия, Афганистан и др.). Этнические шутки в армейской среде в таких случаях зачастую носят злобный, агрессивный характер. Если бы этим и ограничивалось... К сожалению, юмор во многих ситуациях не только создает чувство солидарности в группе рассказывающих (“травящих”) и слушающих различного рода байки и анекдоты, но чувство их явного превосходства над другими. Эти посторонние группы и их представители — объекты шуток — представляются ими откровенными придурками, сексуальными извращенцами и полными импотентами.

В “героической и легендарной” национальные черты того или иного солдата были гипертрофированы в достаточной мере, т.е. ровно настолько, чтобы никто не усомнился в крепнущей дружбе братских народов. Этот вывод, кажется, особенно применим к украинцам, евреям, чукчам и прочим родным, но “некоренным” национальностям.

Дежурный по части — дневальному:

— *Ты кто такой?*

— *Рядовой Салямбеков!*

— *А кто ты в данный момент?*

— *Рядовой Салямбеков!*

— *Сержант Пилипенко, объясните Салямбекову, кто он есть на данный момент и каковы его обязанности!*

Через полчаса:

— *Ну, так кто ты есть на данный момент?*

— *Чурка трахнутый, товарищ майор!*

Мой коллега В.Н.Иванов как-то заметил, что на основе изначального восприятия несправедливости, ущемленности формируется “ненавидящее единство”, легализующее агрессивность, оправдывающее ее, придающее ей видимость легитимности. Этому единству противостоит конкретный виновник (грузин, еврей, узбек и др.), с которым можно не церемониться^[142].

Немцы подбили танк, окружили его и кричат:

— *Русс, сдавайся!*

Открывается люк и из танка раздается голос:

— *Русский нет, узбек нужен?*

И все же наиболее частыми и многочисленными представляются конфликты, связанные с феноменом **подчинения** в рамках армейской иерархии. При неслыханном росте чиновничьего и военного аппарата тенденция к конформизму и авторитарности здесь

наиболее заметна. Еще А.Вебер, рассуждая о средних слоях общества, превратившихся в чиновников и служащих, заметил, что они стремятся использовать все средства, которые есть в их распоряжении, чтобы приковать себя к аппарату и профессии, войти в них. Таким образом, обретаются надежность и удобность существования — однако за это требуется связать свою жизнь с аппаратом, быть послушным ему^[143].

Формально подчинение в армии всем известно: младший по званию подчиняется старшему, однако есть и исключения. Кроме того, существует широкая неформальная система подчинения, зависящая, в частности, от срока службы. Отсюда и экзотические названия групп, столь хорошо знакомые тем, кто служил в армии. Это “старики”, “деды”, “дембели”, “половники”, “салаги”. Неофициальная власть, складывающаяся в этой системе, в какой-то мере является продолжением власти формальной, что не смягчает, однако, последствий насилия и произвола^[144].

— Товарищ капитан! У вас в роте неуставные отношения. Вчера видел вашего солдата — вся морда лица синяя!!!

Конечно, конфликты в армии присутствуют повсюду. Помимо неофициальных (по линии так называемых неуставных отношений) можно упомянуть латентные конфликты между родами войск, между начальниками и подчиненными, работниками тыла и полевых соединений и т.д. Юмор и смех во всех этих коллизиях твердо занимает свое почетное место. Особенно это относится к взаимоотношениям по “линии подчиненности”. Заметим, что сами военнослужащие зачастую склонны рассматривать эти субординации в шутильной манере. И юмор в подобных случаях заметно оттеняет и легитимирует армейскую власть. Кроме того, психологическая разрядка, сопровождающая шутку, чрезвычайно важна с целью снятия последствий рутинной службы.

Генерал начал делать замечания капралу за какой-то проступок, но тот вежливо прервал его:

— Сэр, давайте лучше оставим это дело. Если мы, начальники, начнем выяснять отношения, то что нам тогда остается ждать от наших подчиненных?^[145]

Военная субординация, как можно было заметить, чрезвычайно важна для жизни армии. Строгое подчинение, краткость, исполнительность в этих случаях обеспечивают эффективность в выполнении боевой задачи и в конечном итоге славную победу. Особенно важно четкое и своевременное прохождение команды.

Полковник — своему заместителю:

— В 10.00 произойдет солнечное затмение, что случается не каждый день. Весь личный состав построить рядом с казармой, чтобы каждый мог наблюдать этот природный феномен. Если погода будет плохая и затмение наблюдать не будет возможности, соберите весь личный состав в спортзале.

Заместитель — капитану:

— Завтра в 10.00 будет солнечное затмение. Если пойдет дождь, то его можно будет увидеть снаружи казармы, а затмение будет происходить в спортзале. Это случается не каждый день.

Капитан — лейтенанту:

— По приказу полковника завтра в спортзале будет проведено солнечное затмение. Если пойдет дождь, то полковник отдаст специальный приказ, что случается не каждый день.

Лейтенант — сержанту:

— Завтра полк проводит солнечное затмение в спортзале, что будет каждый раз, когда идет дождь.

Сержант — солдатам:

— Завтра все увольнения отменяются из-за затмения солнца. Если дождь пойдет в спортзале, что случается не каждый день, всем построиться рядом с казармой^[146].

Услышав шутку, военнослужащие разных категорий смеются по-разному.

Генерал смеется три раза: когда слышит шутку, когда ему объяснят смысл шутки и когда он понял объяснение.

Старший офицер тоже смеется три раза: когда слышит шутку, когда понял ее смысл и когда видно, что генерал рассмеялся шутке.

Рядовой смеется один раз: когда видит, что старший по званию смеется.

Военные социологи не смеются вообще. Во-первых, потому, что они знают наизусть все шутки. Во-вторых, смеяться в присутствии начальника — это нарушение субординации. В-третьих, никуда не годится смеяться вслед за начальником, так как он, чего доброго, подумает, что ты глуп, поскольку начинаешь смеяться с опозданием.

Заканчивая столь краткий обзор “субординационных” мотивов, надеюсь на снисхождение своих коллег военных социологов, поскольку эта тема многовариантна и практически неисчерпаема. Последние по моим предположениям сейчас заняты подготовкой новой реформы армии. Гвоздем, вернее, кумулятивным снарядом этой реформы будет военная доктрина. Ее содержание довольно простое (“как апельсин” по типологии М.Н.Руткевича) — “армия должна быть настолько малочисленной и слабой, чтобы нельзя было втянуть государство в войну”. Вот так-то.

Впрочем, если не шутить, армия — серьезный институт. И смягчить ее официальность, пожалуй, единственная забота многих людей, в том числе и автора этой книги.

ОЧЕРК ТРИНАДЦАТЫЙ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ КАК РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА

Юридическое разрешение конфликта обычно рассматривается в соответствии с канонической, не предполагающей отклонений процессуальной схемой, что связано с абсолютизацией идеи государственности и права. При этом реакция как общества в целом, так и сталкивающихся сторон, не находящих адекватной возможности выразить свое отношение к регулированию конфликта, может принимать необычные и неожиданные формы. Исследователь подобного рода реакции сталкивается с феноменом амбивалентности — двойственности переживания, связанного с тем, что у человека или группы людей — участников конфликта проявляются одновременно два противоположных чувства: симпатии и антипатии, любви и ненависти. Коренится амбивалентность в противоречивости системы ценности. По А.С.Ахизеру, каждый человек осмысливает любое явление через дуальную оппозицию, через поиск смысла в преодолении этой оппозиции, через “переваривание” каждого из этих полюсов^[147].

Так непосредственное участие судебных органов в процессе разрешения конфликта приводит к расщеплению его на “официальный” и “неофициальный” уровни. Если на первом рациональность воплощения в государственных решениях, кажется, торжествует, то второй уровень определенно не “вписывается” в общепринятые и санкционированные элементы культуры.

Эта несанкционированная “критическая” культура может найти отражение в анекдоте — одной из форм рефлексии, критики социальной жизни. Представляя собой краткий устный рассказ бытового или общественно–политического содержания с неожиданно шутливой или сатирической концовкой, анекдот не только является свидетельством противодействия официальной культуре, но и служит социальным индикатором роста напряженности в определенных группах.

Юридический анекдот в этом отношении наиболее показателен. Он сопровождает всю историю государственности, достигая особенного расцвета в ее переходные периоды.

— *Как создаются анекдоты? Садятся и сочиняют?*

— *Нет, сначала сочиняют, а потом садятся.*

Или:

— *Кто у Вас там сидит и сочиняет?*

— *Кто сочиняет, тот и сидит*^[148].

Таким образом, анекдот в годы тоталитаризма взял на себя функции не только информации о судебных процессах, но и городского, интеллигентского фольклора. Б.Слуцкий, к примеру, с иронией писал:

Место государства
в жизни личности

уменьшается до неприличности.

Люди не хотят

читать газеты.

Им хватает слушать анекдоты.

Функционально анекдот, вызывая смех, снижает сложившиеся правовые ценности, престиж медиатора конфликта, помогая тем самым возвышению “Я” над асоциальным “не Я”. Смех в подобных случаях, находясь в дуальной оппозиции к серьезности правовых актов, как бы смягчает положение участников конфликта. Он приводит к переосмыслению уже сложившегося правового опыта, может стать стимулом его изменения. Так вполне безобидные анекдоты и шутки по поводу “нетрадиционных” форм сексуальных отношений явно расшатывали сложившуюся практику уголовного наказания за них.

Судья гомосексуалиста. Прокурор произнес яркую обвинительную речь. Обвиняемому предлагают последнее слово, от которого он жеманно отказывается. Все удивлены. Судья снова предлагает обвиняемому произнести речь. Наконец, тот соглашается и говорит: “Ну, если Вы уж так настаиваете, я скажу... Мне очень и очень нравится прокурор!”

В тоталитарном обществе власти видят в анекдоте разрушительную силу, поскольку вызываемый им смех выступает против идеологии, которая выполняет интегративные функции. Серьезность и окружающая ее тайна несовместимы со смехом — таково кредо любой авторитарной власти. Позволить смеяться над собой для нее означает признать свое банкротство. Ну, нет. Именно поэтому по правдоподобным рассказам очевидцев правый берег Беломорканала обустроивали рассказчики анекдотов, а левый — их слушатели.

История взаимоотношений судебной власти и сочинителей анекдотов в России прослеживается исследователями с середины XVII в. П.Н.Полевой считал, что небольшие “смехотворные” повести (фацеции) и шарты (анекдотические рассказы) появились на Руси одновременно с рыцарскими романами предположительно из Польши.

Но из наиболее знаменитых юмористических произведений, посвященных правосудию, выделяется французский фарс “Адвокат Патлен”, приписываемый поэту Ф.Вийону. Из пяти персонажей фарса — два юриста: сам адвокат и судья, совершенно не разбирающийся в плутнях Патлена. Но крестьянин Тибо перехитрил всех, даже продувного адвоката. Последний же согласно замыслу автора олицетворяет все пороки профессии: жадность, хитрость, ум.

“Как я ни силюсь там и сям
Прибрать хоть что-нибудь к рукам —

Напрасный труд! Не странно ль это?..

А все ж — без хвастовства! — я малый

Не промах. Большого хитрюги

Не сыщется у нас в округе.

Я, после мэра, всех умней”^[149].

Среди оригинальных русских произведений XVII в. отмечают два направления, “в равной степени свойственные характеру человека и его постоянному отношению к действительности: одно шутовское и веселое, с оттенком легкой и добродушной иронии; другое — мрачное, безжалостное, суровое...”^[150].

К первому направлению относятся все те произведения, в которых осмеивается жалкое состояние тогдашнего судопроизводства, ненасытное корыстолюбие и взяточничество судей и нескончаемая волокита при рассмотрении тяжб. Сюда относятся “Повесть о шемякином суде” и “Повесть о Ерше Ершовиче” — наиболее известные памятники смеховой литературы^[151].

В основе “Повести о шемякином суде” лежит происшествие, из-за которого бедняк, обвиненный богатым братом, попом и горожанином, оказался на скамье подсудимых. Благодаря казуистической ловкости судьи Шемяки бедный крестьянин был оправдан, но сам процесс и приговор кажутся образцом сатиры на любое судопроизводство.

“Повесть о Ерше Ершовиче” также содержит зеркальное отражение тогдашних законов, порядков и обычаев. Действующие лица этого произведения — боярин Осетр, воевода Сом, выборные Судак и Щука, челобитчик Лещ и ябедник Ерш — представляют собой своеобразную группу “противовеса” официальной судебной культуре.

Повесть, по сути дела, представляет собой сатирическую басню, где высмеиваются не только судебная практика, но и человеческие отношения в нескольких проявлениях.

“Драгоценнейший исторический документ”, по словам В.Г.Белинского, отражает русский национальный ум с его тонкой насмешливостью^[152].

Насмешки Ерша, в частности, заключены в словах, произнесенных после произнесения обидного приговора “казнить торговой казнию — против солнца повесить в жаркие дни”. Ерш заявил, что судьи судили не по правде, а по мзде и, плюнув им в глаза, он “скочил в хворост: только того Ерша и видели”.

М.Зощенко, делая выписки из “Русской правды”, обратил внимание на следующий пункт:

“Если убьют купчину немца в Новгороде, то за голову десять гривен”. Далее он меланхолично замечает: “Столь унижительно низкая цена за голову иностранного специалиста в дальнейшем, правда, была доведена до сорока гривен и убийство интуристов, видимо, стало не всем по карману и не всем доступно, но все же цена была немного больше, чем удар чашей или рогом по отечественной морде... Однако не будем разбираться в этих психологических тонкостях. Деды небось туго знали, что делали”^[153].

Владимир Мономах являлся продолжателем законодательной работы Ярослава Мудрого, причем он внес в “Русскую правду” много изменений. Они были следующие:

1) за убийство из мести был установлен штраф, как ныне за неверное сведение в газете.

Но штраф был до того ничтожный, что самый бедный человек, лишенный возможности ежедневно обедать, мог позволить себе дважды в день совершить убийство из мести;

2) убийство пойманного вора не считалось убийством, но ворами закон запрещал попадаться, и воры никогда не обходили закон;..

“...Министров юстиции тогда еще не было, и судьи имели полную возможность судить по существующим законам. Но судьи были истинные патриоты. Они поняли, какой вред могут принести патриотическим идеям писанные законы, и за небольшое вознаграждение они стали показывать, как можно обходить законы”^[154].

Современный анекдот, по сути дела, содержит многое из приемов, использованных в

упомянутых произведениях (контраст, противоречие, отклонение от признанной нормы и пр.), отличаясь, однако, более заостренными сатирическими формами. Его суть можно объяснить при помощи теории смеха А.Бергсона: “Будет комическим всякий распорядок действий и событий, который дает нам внедренные друг в друга иллюзии жизни и ясное впечатление о механическом устройстве”^[155]. По мнению Бергсона, смешным будет любой автоматизм и косность, которые противоречат действительности. Известный философ современности затратил много усилий, подыскивая примеры и анализируя приемы для утверждения своих выводов. Один из таких приемов он назвал “инверсией”. “Представьте себе, — пишет он, — несколько лиц в известном положении: вы получите комическую сцену, если сделаете так, что данное положение превратится в свою противоположность, а роли переменятся... Так мы смеемся над подсудимым, который читает нравоучения судье, над ребенком, который пытается поучать своих родителей... История преследователя, ставшего жертвой своего преследования, обманутого обманщика составляет основу многих комедий. Мы находим ее уже в старинных фарсах. Адвокат Патлен учит клиента, как надуть судью; клиент пользуется той же уловкой, чтобы не заплатить адвокату. Сварливая жена требует, чтобы муж исполнял всю работу по дому, и составляет для него подробнейший список обязанностей. Когда она попадает в чан, муж отказывается вытащить ее оттуда, говоря: “Этого нет в твоём списке”^[156]. Критики Бергсона, впрочем, подмечали некоторую ограниченность концепции “наличности автоматизма”. Вспомним, что Б.Дземидок считал, что нас не может рассмешить ни солдатская муштра, ни выдержанное в едином ритме выступление группы гимнастов^[157]. Наверное, в определенной степени это так. Но все же можно найти в качестве контраргумента случай из той же армейской жизни:

— *Капитан Хендерсон, — сказал военный прокурор, — объясните суду, что произошло в вашей роте седьмого сентября.*

— *В этот день я проводил занятие по строевой подготовке и подал рядовому Гейнсу команду “Бегом”, но он ее не выполнил и продолжал идти шагом.*

— *Рядовой Гейнс, — обратился председатель суда к обвиняемому, — вы знаете, что, отказываясь выполнять приказ, вы совершаете серьезное преступление. Почему вы не выполнили приказ?*

— *Ваша честь, — ответил рядовой, — как вы знаете, согласно уставу после предварительной должна подаваться исполнительная команда.*

— *Да, это так, — подтвердил председатель суда.*

— *Но дело как раз в том, что капитан подавал только предварительную команду “Бегом”, а исполнительную “Марш” не подавал.*

Решением суда рядовой был оправдан^[158].

Как бы то ни было, в научной социологической и правовой литературе юридическое регулирование конфликтов обычно рассматривается как прямолинейный монолог. Так, например, с момента принятия Основ уголовного судопроизводства 1958 г. принято считать, что оценка доказательств представляет собой мыслительную деятельность суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание. Получается, что обвиняемый, его адвокат, потерпевший и другие участники процесса права на оценку доказательств не имеют^[159].

С точки зрения социолога такая ситуация является абсолютно ненормальной. Уже отмечалось, что каждое явление, в том числе и конфликтное, по своей сути амбивалентно.

Юридический монолог, представляя одну из сторон, находится в противоречии с диалогом, он утверждается всевозможными средствами, и любое решение, отражающее этот монолог, воплощает собой единственную правду–истину. А следствием подобного подхода, как это ни парадоксально, может стать не только нарушение основных прав человека, но и существующего законодательства. В противоположность монологу диалог в юридическом контакте характеризуется восприятием оппонента (адвоката, подзащитного, свидетеля) не как неприятного человека, не как закоренелого преступника, лжесвидетеля, а как в определенной степени приемлемого участника процесса с минимальным элементом единства.

Пример юридического монолога:

В зале суда публика ведет себя очень шумно. Судья восклицает:

— Если вы не замолчите, я буду вынужден всех вас удалить! Мы и так рассматриваем уже четвертое дело, не слыша ни слова...

При диалоге атмосфера в суде несколько иная.

Судья: — Свидетель, вы должны говорить правду, одну только правду и ничего кроме правды.

— Да, господин судья.

— Что в таком случае вы можете сказать по обсуждаемому делу?

— А что можно сказать при таких ограничениях?

При либеральной демократии регулирование конфликта является предметом настоящего диалога, результатом и одновременно предпосылкой правового развития общества. Это положение в определенной степени является идеальным, а иногда и иллюзорным. Однако реакция общества на правосудие как орган улаживания конфликтов по мере культурного развития становится комфортнее, т.е. более приемлемой. В разрозненном обществе правосудие выступает как одна из альтернатив регулирования в противоположность сохранению ценностей локализма, основанного на обычае, традиции, уравнительности^[160].

В юридической и философской литературе, например, обращалось внимание на чисто японский способ разрешения конфликтов. Расположенность к согласованным действиям и решению спорных проблем в рамках компромисса составляет одну из основных черт японского образа жизни. Для Японии характерны решения подавляющего большинства проблем (по статистике, более 94%) в узком кругу и без суда — путем внесудебных дискуссий и согласований между заинтересованными сторонами^[161]. Возможно, что именно из-за этого своеобразия юридические анекдоты в этой стране встречаются чрезвычайно редко. Признание вины или признание поражения почти автоматически означает прекращение как карательных, так и ответных действий.

В разделенных и кризисных обществах юридическое вмешательство в конфликт может привести к его псевдорешению или в худшем случае переносу его на другой уровень. Общество обычно четко улавливает эту особенность в разных формах рефлексии, в частности в контркультуре и критике. Смех стимулирует критику и вследствие этого может считаться начальным элементом разрушения общепринятых формальных способов разрешения проблем.

Наиболее остро высмеиваются процессуальные нормы — рассмотрения и разрешения в судебном заседании гражданских и уголовных дел. Излюбленный объект насмешек и шуток — судебно-профессиональная культура и ритуал судебного процесса. Несколько реже высмеиваются сами нормы материального права. И обычно эти анекдоты все равно связаны с судебным процессом.

В Нью-Йоркском суде слушалось дело по обвинению молодого человека, который нарушил свое обещание жениться. Истица, заявив, что юноша разбил ее сердце, потребовала компенсации и получила по суду 10 тыс. долл.

Второе дело было связано с наездом автомобилиста на девушку, которая получила травму (перелом нескольких ребер). Судья приговорил нарушителя к штрафу в 100 долл. Вывод: не разбивайте девушкам сердца, бейте по ребрам.

Что касается судебного ритуала, то наибольшее внимание юмористов привлекает открытие председательствующим судебного заседания, а также право подсудимого по окончании судебных прений произнести последнее слово. При открытии заседания обычно зачитывается, какое дело подлежит разбирательству. В работе А.Л.Ликаса предлагается такая форма обращения:

“Товарищи! Суд приступает к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве (хищении государственного имущества, изнасиловании и т.д.). Основной задачей суда является установление объективной истины по делу. Если суд убедится, что совершено преступление, ему надлежит установить, виновен ли в совершении этого преступления Иванов Иван Иванович или нет. В случае вины подсудимого будет постановлен обвинительный приговор и определена мера наказания. Если же вина Иванова доказана не будет, то подсудимый будет оправдан, поскольку советский суд осуждает и наказывает только виновных.

Суд стремится к полному, всестороннему и объективному исследованию всех доказательств по делу. Решение о вине или невиновности Иванова суд примет в соответствии с законом и своим внутренним убеждением, которое сложится в результате исследования и оценки всех доказательств по делу”^[162].

Для сравнения можно привести вступительное слово председательствующего при рассмотрении тяжбы между двумя американскими нефтяными компаниями в Техасе за право владения спорным участником. Перед началом судебного разбирательства было сделано следующее заявление:

— Члены суда получили от компании “Баксос-ойл” чек на сумму 100 тыс. долл., а от компании “Наксос-ойл” — на 150 тыс. Я могу сообщить, что компании “Наксос-ойл” будет возвращена разница в 50 тыс. долл., после чего суд решит дело по справедливости.

Последнее слово обвиняемого перед вынесением приговора обычно характеризуется в том же духе.

Судья: Ваше последнее слово, подсудимый!

Подсудимый: 10 тыс. и ни цента больше!

Или другой вариант:

— *Подсудимый, почему вы отказываетесь от последнего слова?*

— *Думаю, что это ни к чему, господин судья. Все, что нужно было сказать, сказал мой адвокат, а все, что не нужно было говорить, сказал прокурор...*

Центральной фигурой насмешек общества, бесспорно, считается судья. Среди участников судебного разбирательства он, как известно, председательствует, “но при решении всех вопросов, возникающих при рассмотрении дела и при постановлении решения, приговора, определения, равноправен с народными заседателями”^[163] (последняя часть фразы представляется анекдотичной, несмотря на серьезный источник, из которого она позаимствована).

Еще более привлекательным для юмористов представляется одна из функций судьи, связанная с воспитательным воздействием процесса на обвиняемого и присутствующую в зале суда публику. Эффект нашего воспитания зачастую предопределен интеллектуальным уровнем судьи:

— *Вы обвиняетесь в нарушении общественного порядка! — строго говорит судья. — Что вы скажете в свое оправдание?*

— *Хочу сказать, ваша честь, что даже выпив пару рюмочек, я всегда веду себя чинно и благородно. Ведь я не такой безнравственный, как Фицджеральд, не столь распущенный, как Киплинг, не такой пакостник, как Хемингуэй, не беру примера с необузданного Голсуорси или лишнего изящества Шекспира...*

— *Хватит, хватит! — прерывает его судья. — Десять суток. А вы, пристав, составьте список всех, кого он назвал, и доставьте их сюда! Мы с ними разберемся.*

Настойчивые требования властей к юридическим органам привнести в судебный процесс морально-этические нормы, заставить судью произносить моральные проповеди являлись, на наш взгляд, не только малопродуктивными, но и абсурдными по существу. Мораль и политика, мораль и право — явления разного уровня. По сравнению с правом мораль представляет собой более высокий уровень сознания и самосознания. Разумеется, мораль может присутствовать при правовых решениях, однако, постепенно проникая в область права, она в конечном итоге способствует ослаблению последней. Форсирование же этого процесса приводит к полной его дискредитации. При смешении моральных и правовых норм, при преувеличении роли первых происходит абсурдное действие. Русский правовед Б.Кистяковский писал, что на “одной этике нельзя построить конкретных общественных форм. Такое стремление противоестественно: оно ведет к дискредитированию этики и к окончательному притуплению сознания”^[164].

Этико-идеологические установки судьи подвергаются сомнению со стороны публики по нескольким причинам. Помимо объективных (главным образом противоположные интересы участников процесса) чисто субъективные факторы дают много любопытного материала. Профессиональное тщеславие судей, их определенные личностные качества (черствость, самомнение, языковая казенщина) встречаются часто, что немедленно подмечается и используется в разнообразной критической форме. Особенно остро публика реагирует на морализаторство, проявляемое председательствующим:

— *Для чего вы живете, что вы делаете для общества? — спросил судья у рецидивиста.*

— *Как что делаю? Вы меня удивляете, ваша честь. Я даю работу полиции и суду!*

Диалог между судьей и подсудимым разрушает превосходство первого. Именно по этой причине судьи обычно предпочитают монолог и строго пресекают возможные возражения и реплики.

— *Обвиняемый, — говорит судья, — вы такой интеллигентный человек, а...*

— *Сожалею, господин судья, что не могу ответить вам подобным комплиментом, ведь я присягал говорить только правду...*

Другой важный участник судебного разбирательства — государственный обвинитель обычно не скрывает свою личную позицию, что не мешает ему иметь (как предполагают многие теоретики) “объективность, полноту и всесторонность — метод, способ познания истины, в равной мере присущие прокурору и суду”^[165].

Во время перерыва в судебном заседании говорят прокурору:

— *Неужели вы не видите, что подсудимый debil.*

— *Это не повод для его оправдания — debилы точно такие же люди, как мы с вами.*

При равноправном диалоге обвиняемого и прокурора ролевое поведение последнего несколько меняется.

Обвиняемый говорит прокурору:

— *А теперь поклянитесь на Библии, что все сказанное вами про меня — чистая правда.*

В другом процессе свидетель давал очень пространные объяснения на каждый вопрос.

— *Отвечайте “да” или “нет”, — прогрохотал обвинитель, — нам ни к чему ваши подробности.*

— *Но не на каждый вопрос можно отвечать “да” или “нет”!*

— *На каждый!* — обрезал обвинитель.

— *Ну, — сказал свидетель, — тогда ответьте: у вас уже перестали на допросах бить подозреваемых ногами?*

Профессиональные черты адвоката обычно отражаются в общественном мнении гипертрофированно. Остроумие, цинизм, беспринципность, жадность — постоянные объекты шуток со стороны окружения. Так называемые исторические анекдоты издавна свидетельствуют об этом.

М.Твен был приглашен в гости к известному адвокату. Хозяин дома, держа руки в карманах, так представил гостя собравшимся:

— *Вот редкий случай! Юморист, который действительно смешон!*

— *Вы также являетесь собой редкий случай, — сказал ему М.Твен. — Адвокат, который держит руки в собственных карманах.*

Авторы современных анекдотов с теми или иными изменениями постоянно эксплуатируют эту тему, причем в отличие от других объектов насмешек (судья, прокурор, заседатели) агрессия здесь проявляется в заметно меньшей степени.

— *Как закончился бракоразводный процесс Джонсонов?*

— *Как и положено. Супруг получил автомобиль, супруга детей, а адвокат — все остальное в качестве гонорара.*

Судопроизводство, разумеется, привлекает основное внимание своей значимостью в конфликтом взаимодействии различных групп, однако и другие виды регулирования не минует острое слово анекдота. При разрешении конфликтов между различными участниками каждая из сторон, как правило, стремится к диалогу, причем слабейшая из них с настойчивостью стремится к равноправию как с посредником в споре, так и с противником. При взаимодействии является существенным то, какие ценности победят в этих возможных диалогах отдельных людей, втянутых в конфликт. Диалог приобретает партнерский характер, если взаимодействие совершается с помощью сообщений, в которых обнаруживаются цели и методы деятельности обеих сторон, а также когда существуют условия обоюдной критики этих целей и методов. Доброжелательность, снисходительность сторон ведут к находчивости в поиске форм ненасильственных действий и в конечном итоге к разрешению конфликта^[166].

Любая конфликтная ситуация имеет определенное социальное содержание. Какой бы причиной она ни вызывалась, в ходе ее разрешения затрагиваются те или иные ценности. Это важная особенность человеческого поведения. Воздействие путем засвидетельствования требует некоторого психологического подхода. Прежде всего в поведении, являющемся реализацией ценностей, следует выделить действия, направленные на демонстрацию этих ценностей другим людям.

Оно проявляется, например, при взаимоотношениях между сотрудниками ГАИ и участниками дорожного движения — водителями автомобилей. В данном случае имеет место “вертикальный конфликт”, возникающий в области отношений власти и подчинения. Сотрудник ГАИ выполняет при этом функции регулирования, надзора и наказания, возложенные на него государством. Именно при таких обстоятельствах и возникают проблемные ситуации, при которых межличностные конфликты между сотрудником и водителем составляют примерно 75%^[167].

С.Л.Дановский, проанализировав жалобы водителей по поводу деятельности патрульных милиционеров — сотрудников ГАИ, пришел к выводу, что имеет место явное различие ролевых позиций конфликтующих сторон, что способствует искаженному представлению водителя (слабая позиция) о подлинных намерениях сотрудника милиции (сильная позиция), приписывая ему злой умысел (взятка), черствость, глухоту к различным доводам. Для сотрудника это неравенство чревато опасностью другого рода — превышением и злоупотреблением своих служебных полномочий, сопровождающимся к тому же некорректным поведением.

С учетом частоты конфликта (40 млн. нарушений в год) и неизбежного расширения его вширь как потерпевшей, так и выигравшей сторонами (рассказы и жалобы друзьям, родным и т.д.) в него втягивается масса других людей. Заинтересованные опосредованно в его разрешении действующие лица формируют общественное мнение, как правило, враждебное, настроенное не столько персонально против кого-то, сколько против системы, правил и аппарата регулирования^[168].

Критический настрой общественности включает в себя в качестве неотъемлемой черты шутки и анекдоты о придирчивости, невежественности и жадности сотрудников ГАИ.

Машина проскакивает на красный свет. Свисток инспектора, машина останавливается.

— *Ваша фамилия?* — спрашивает милиционер.

— *Иванов,* — отвечает водитель.

— *Не валяйте дурака, назовите настоящую фамилию.*

— *Ладно, меня зовут Лев Толстой!*

Инспектор записывает эту фамилию, вручает квитанцию о штрафе со словами.

— *Вот так бы сразу и сказали. Думали меня надуть, а?*

Другая сторона конфликта также придумывает массу историй о непрофессионализме водителей, их тупости и упрямстве.

На улице с односторонним движением пьяный водитель гонит вожсю в противоположном направлении. Постовой его останавливает и спрашивает:

— *Скажите, куда вы так спешите?*

— *Сам не знаю,* — отвечает водитель, — *вижу только, что опоздал, все машины уже возвращаются.*

В этих анекдотах служители порядка предстают вежливыми, интеллигентными людьми. В то же время нарушители лгут, изворачиваются и дерзят как только могут. Подобные элементы воззрений на нарушителей носят не только корпоративные, очерчивающие границы группы особенности, но и зачастую содержат элементы агрессии. Наиболее распространенными являются шутки о кавказцах за рулем.

Милиционер останавливает машину и рассматривает водительские права.

— *Дарагой, что смотришь, что не нравится?*

Какие права были, такие и купил.

(вариант: Не было автомобильных прав, пришлось купить права на вождение самолета).

В 60–е годы популярными были анекдоты о водителях–евреях, которые могут выкрутиться из любого положения. Случай (классический):

Милиционер останавливает нарушителя и просит объяснить, почему тот превысил скорость.

— *Ну какой же русский не любит быстрой езды?*

— *Ваши водительские права.*

— Ну какие могут быть права у еврея?

Некоторые специалисты не находят в подобных шутках и анекдотах социального подтекста, объясняя их чисто подсознательной реакцией на подавление извне. Когда между противоположными тенденциями возникает острый конфликт, отступление одной из сторон обычно неосознанное. Особенно болезненные переживания вытесняются из области сознания и забываются. Но, по Фрейду, такие тенденции продолжают сохранять активность. Подавленные импульсы появляются в замаскированном виде — так запретное чувство вражды может ненамеренно выразиться в якобы невинных шутках, оговорках. Тайные, замаскированные каналы дают возможность изжить некоторые напряжения безвредно для себя и даже сохранить свою респектабельность^[169].

Полиция останавливает автомобиль, петляющий по шоссе.

— Сэр, мы должны проверить вас на алкоголь!

— Отличная идея, ребята! А где у вас здесь поблизости бар или ресторан?

Социологи и психологи считают, что нет такого общества, где перестанут сочинять анекдоты. Как булыжник — оружие пролетариата, танки — оружие правительства, так анекдот — оружие интеллигенции. Что касается его специфического проявления — так называемого “юридического” анекдота, то, надеюсь, читатель заметил две его функции. Первая из них прямо связана с конфликтом (анекдот как агрессивная реакция общества на его разрешение), вторая — с социальным контролем (анекдот как регулятор поведения сторон в конфликте). В более широком социальном контексте шутки и остроты, содержащиеся в анекдоте, выражают доминирующие в обществе ценности, а в психологическом аспекте смягчают напряженность и сокращают дистанцию между конфликтующими сторонами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель, по-видимому, подметил, что вся система творчества и потребления юмора может быть представлена своеобразным зеркалом общественной сути человека, одной из форм его самоутверждения. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут решить проблему социологии юмора, ибо уяснение в теории поможет более эффективно использовать ее в общении между различными людьми, объединенными в социальные группы. Что касается обществоведов — специалистов в области гуманитарных наук, т.е. тех, кому в общем-то и предназначается эта книга, то нетрудно заметить возможность применения изложенного материала в исследовательских и учебных целях, разумеется, в ограниченных дозах.

И последнее. Исчерпывающие комментарии, немислимые в издании данного типа, частично заменены Приложениями, в которых отражены сведения, помогающие понять исторический аспект проблемы.

Приложение № 1

В.Павлов

ПЕРЕЩЕГОЛЯЙТЕ НАСМЕШНИКОВ

В общении мы часто заранее предполагаем, что другой или другие ошибаются значительно чаще нас. Эта психологическая установка, желание видеть себя только с хорошей стороны мешают нам объективно относиться к своим оплошностям, неверным действиям, срывам в поведении. А в конечном итоге — к ссорам и многочисленным обидам. Что же следует делать, чтобы быть критичным к себе?

В первую очередь развивать ироничное отношение к себе, ко всему, что начинается со слов “я”, “моя”, “мой” и т.п. Опыт показывает: чувством юмора по-настоящему обладает тот человек, который может и умеет смеяться над собой — наедине и среди других людей. Существует достаточно доказательств, что смех над своими недостатками и неудачами очищает нас от стресса, снимает напряжение, лечит болезненное самолюбие, а главное — помогает каждому видеть себя со стороны более объективно и реально.

Сегодня мы с помощью самотеста сможем узнать больше о возможностях быть ироничными. При этом самотест — только “прикидка”. Знания об этом качестве вы получите, наблюдая и зная реакцию и мнение других людей.

Если вы готовы точно и правильно выполнить инструкцию теста, спокойно и с иронией воспринять результаты самооценки, то начинайте работу.

Инструкция. Возьмите лист бумаги, ручку или карандаш. Напишите число, месяц, год и время начала работы. Ваша задача: написать номер утверждения, внимательно прочитав его и ответить, верно оно для вас (в листок вы пишете знак “+”) или неверно (знак “-”). Если вы не можете сделать выбор, напишите знак вопроса — “?”. Последний ответ допускается в крайних случаях. Прочитайте инструкцию еще раз и выполняйте тест.

Задание: 1. Я боюсь выглядеть смешным и беспомощным. 2. Когда кто-то улыбается между собой, то я думаю, что это обо мне. 3. Я могу посмеяться с другими над собой. 4. Когда мне тяжело, я стремлюсь быть в веселой компании. 5. Человек, который часто шутит, особенно над собой, не может быть серьезным человеком. 6. Мне хотелось бы иметь дружеский шарж на себя. 7. Меня очень обижают знакомые, которые смеются над моими неудачами. 8. Быть смешным — значит глупо выглядеть. 9. Я хотел(а) бы дружить с человеком, который не обижается на шутки и розыгрыши. 10. В компании я обычно стараюсь рассказать смешное из своей жизни. 11. Мне трудно смеяться, когда у меня неприятности. 12. Мне нравятся люди оптимистичные и неунывающие в любой ситуации.

Обработка результатов. Напротив каждого из 12 утверждений напишите значение “ключа”. Значения лучше написать в скобках. Итак, “ключ” теста: 1. (-). 2. (-). 3. (+). 5. (-). 6. (+). 7. (-). 8. (-). 9. (+). 10. (+). 11. (-). 12. (+). Не исправляйте свои ответы во время обработки результатов, даже если очень хочется. Найдите и подсчитайте количество совпадений, то есть когда ваш ответ совпал со значением “ключа”. Например: + (+): — (-). Если вы ответили знаком вопроса (?), то совпадения нет. Всего совпадений может быть максимально — 12 баллов.

Анализ результатов. Если количество баллов от 9 до 12, то у вас есть надежное средство защиты от обид и возможного стресса для самолюбия. Но в любом случае старайтесь, чтобы ироничность и стремление посмеяться над собой не стало только интересным занятием и развлечением для вас и ваших знакомых.

Средние значения — от 5 до 8 баллов — позволяют через анализ “несовпадений” (выпишите их) улучшить свою способность снимать напряжение, нейтрализовать обиду и легче смотреть на свои оплошности. Важно не бояться выглядеть смешным. Лучше все-таки быть веселым, чем обидчивым и беспричинно “дуться”.

Значения до 5 баллов “говорят” о сложных взаимоотношениях с вашим “я”, когда желание понять и узнать себя по-настоящему наталкивается на серьезное сопротивление вашего самолюбия. В этом случае смеяться над собой означает для вас потерю авторитета, статуса, уверенности в себе. Поверьте, это не так. Вы обязательно станете больше уважать себя, если перестанете бояться иронизировать над собой. Вы сразу лишаете ваших потенциальных насмешников “обильной пищи” смеяться над вашими неприятностями. Увидев, что в этом вас им превзойти трудно, они потеряют интерес. Попробуйте рассказать смешно и в “красках” о том, что в вашей жизни вызвало досаду и огорчение. Вам определенно станет легче сохранять авторитет и хорошее настроение. Да и знакомые оценят высоко такое чувство юмора и будут рады общению с вами.

Попробуйте уже сегодня иронично, с чувством юмора относиться к своим обидам и недостаткам, слабостям и оплошностям. Вы начнете замечать, что стало легче понимать другого, другую. И, может быть, вы сможете приблизиться к “единой воле”, к единству души...

(Народная газ. моск. региона. 1993. 21 авг.)

Приложение № 2

Л.Муниз

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ СМЕХА

Мир принадлежит смеху, смех принадлежит миру. В мире смеха и в смехе мира заложена надежда для мира. Комическое, утверждает русский эстетик Юрий Боров, казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия.

При объяснении логики смеха мы сталкиваемся с двумя парадоксами. Венгерский мыслитель Кестлер полагает, что смех — деятельность без какой-либо полезной цели, совершенно не связанная с борьбой за выживание. Смех — это уникальный (роскошный!) рефлекс, не имеющий определенной биологической цели^[170].

Второй парадокс — это различие между природой стимула и юмористическим откликом. По Кестлеру, юмор — область творческой деятельности, где на высоком уровне складывающийся стимул вызывает ответную реакцию на уровне физиологических рефлексов.

Этот роскошный рефлекс играет большую роль в нашем умственном и физическом здоровье. Более того, смех принимает участие в нашей борьбе за выживание и в борьбе с нашими невзгодами. Смех создает, освобождает, обновляет. Он избавляет нас от страха, сковывающего нашу свободу.

Михаил Бахтин, которого Цветан Тодоров называет “самым известным советским мыслителем в области гуманитарных наук и величайшим теоретиком литературы XX века”^[171], предложил довольно неожиданную интерпретацию смеха и народной культуры. Его работа “Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса” требует существенной реконструкции всего нашего художественного и идеологического сознания. У Бахтина мы находим культурное объяснение малоизученной традиции народного юмора и форм смеха в различных сферах человеческого творчества.

Пока египтяне создавали пирамиды, а греки создавали театр, народная культура создала карнавал. Карнавал и праздничный смех играют важнейшую роль в истории смеха.

В эпоху Ренессанса смех стал выражением нового, свободного, критического и исторического облика эпохи.

Официальная средневековая культура характеризуется исключительно серьезными тонами. Серьезность считалась единственным способом выражения правды и вообще всего важного и ценного. Однако смех столь же универсален, как и серьезность. Он несет в себе историю общества и концепцию мира.

Смех всегда противостоял страху. Ренессанс сформировал новую нравственность. Уже в средневековом комизме было предчувствие: грядет победа над страхом. Через смех человек преодолевал страх. Однако в средние века преодолевался только внешний страх. Ренессанс преодолел и внутренний. Народная культура имела цель — перебороть страх, в котором задохнулись воображение и чувственность.

Таким образом смех помог людям посмотреть на мир иными глазами, увидеть мир в радостной и светлой перспективе.

(Акад. тетради. 1995. N 1. С. 36-37)

А.Бергсон

КОМИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРА

Будучи всецело заняты задачей раскрыть основной источник комического, мы вынуждены были до сих пор оставлять в стороне одно из самых замечательных его проявлений. Я имею в виду логику, свойственную комическим личностям и группам, логику странную, которая в известных случаях может давать большой простор нелепости.

Теофиль Готье назвал комизм логикой нелепости. Многие теории смеха сходятся на подобной же мысли. Всякий комический эффект должен заключать в себе противоречие в каком-нибудь отношении. Нас заставляет смеяться нелепость, воплощенная в конкретную форму, — “видимая нелепость”, или кажущаяся нелепость, сначала допущенная, но тотчас же потом исправленная, или, наконец, то, что нелепо, с одной стороны, но естественно объяснимо — с другой, и т. д.

Все эти теории заключают, несомненно, известную долю истины; но, прежде всего, они применимы только к некоторым, довольно грубым комическим эффектам, и даже в тех случаях, когда они применимы, они, кажется мне, упускают из виду самый характерный элемент смешного, именно *совершенно особый* род нелепости, который комическое содержит, когда оно вообще содержит в себе нелепость. Вы желаете в этом немедленно убедиться? Достаточно взять одно из этих определений и составить комические эффекты по его формуле: чаще всего комический эффект не будет заключать в себе ничего смешного. Нелепость, встречаемая иногда в комическом, не есть любая нелепость. Это нелепость вполне определенная. Она не создает комическое, она, скорее, происходит от него. Она есть не причина, а следствие — следствие совершенно специальное, в котором отражается специальная природа вызвавшей его причины. Мы знаем эту причину. Нам не будет, следовательно, трудно теперь понять и следствие.

Предположим, что, гуляя в поле, вы заметили на вершине холма нечто смутно похожее на большое неподвижное тело, которое машет руками. Вы еще пока не знаете, что это такое; но вы ищете среди известных вам *идей*, то есть среди воспоминаний, которыми располагает ваша память, такое воспоминание, для которого то, что вы видите, послужило бы, возможно, лучшей рамкой. Почти тотчас же перед вами встает образ ветряной мельницы, перед вами и есть ветряная мельница. Ничего не значит, что вы только недавно, перед выходом из дома, читали сказки о великанах с безмерно длинными руками. Здравый смысл заключается в умении припоминать, — я с этим согласен, — но также, и в особенности, в том, чтобы уметь забывать. Здравый смысл есть усилие ума, который непрерывно приспособляется, меняя идею, когда меняется предмет. Это и есть подвижность ума, в точности следующая во всем подвижности вещей. Это — постоянно подвижное, непрерывное наше внимание к жизни.

Но вот Дон Кихот отправляется воевать. Он читал в романах, как рыцарь встречается на своем пути врагов-великанов. Значит, должен встретить великана и он. Мысль о великане — это самое яркое воспоминание, которое запечатлелось в его уме, — держится настороже, поджидает, неподвижное, случая вырваться наружу и воплотиться в каком-нибудь предмете. Это воспоминание *хочет* принять материальную форму, и поэтому первый же встретившийся предмет, хотя бы имеющий с формами великана лишь самое отдаленное сходство, будет принят им за великана. Дон Кихот видит, таким образом, великанов там, где мы видим ветряные мельницы. Это смешно и нелепо. Но просто ли это нелепость?

Это совершенно особое искажение здравого смысла. Оно состоит в стремлении приспособлять вещи к известной идее, а не свои идеи — к вещам. Оно состоит в том, что видят перед собою то, о чем думают, а не думают о том, что видят. Здравый смысл требует, чтобы каждое наше воспоминание занимало свое место в ряду других воспоминаний; тогда каждому данному положению будет отвечать соответствующее воспоминание, которое и послужит только к истолкованию этого положения. У Дон Кихота, наоборот, есть группа воспоминаний, которые господствуют над всеми остальными и подчиняют себе всецело самую личность; в данном случае, следовательно, действительность должна будет склониться перед воображением и служить только для того, чтобы одевать его в плоть и кровь. Как только иллюзия сложилась, Дон Кихот развивает ее, надо признать — логично, во всех ее последствиях; он идет за нею с уверенностью и расчетливостью лунатика во сне. Таково происхождение заблуждения, и такова та специальная логика, которой подготавливается нелепость. Но свойственна ли подобная логика только Дон Кихоту?

Мы показали, что комическая личность грешит всегда упрямством ума и характера, рассеянностью, автоматизмом. В основе комического лежит известного рода косность, вследствие которой человек идет прямо своим путем, ничего не слушая и ничего не желая слышать. Множество комических сцен в пьесах Мольера сводится к этому очень простому типу: *человек преследует излюбленную идею*, постоянно возвращается к ней, хотя его все время прерывают. Незаметна разница между человеком, не желающим ничего слышать, и человеком, не желающим ничего видеть, и, наконец, человеком, который видит только то, что ему хочется видеть. Упрямый ум кончит тем, что подведет окружающие предметы под свою идею, вместо того, чтобы сообразовать свою мысль с предметами. Следовательно, каждый комический персонаж находится на пути иллюзии, который мы только что описали, и Дон Кихот дает нам общий тип комической нелепости.

Имеет ли свое название это искажение здравого смысла? Его встречают, несомненно, в острой или хронической форме в некоторых видах сумасшествия. Многими сторонами своими оно схоже с навязчивой идеей. Но ни сумасшествие вообще, ни навязчивая идея в частности никогда не вызовут нашего смеха, потому что это болезни. Они вызывают в нас сострадание. Смех, как мы знаем, несовместим с душевным волнением. Если существует сумасшествие смешное, то это может быть только сумасшествие, совместимое с общим здоровым состоянием ума — сумасшествие, так сказать, нормальное. Но существует нормальное умственное состояние, в полной мере воспроизводящее сумасшествие; мы видим в нем те же ассоциации идей, что при помешательстве, ту же своеобразную логику, что при навязчивой идее. Это — состояние грез. Или наш анализ неверен, или он должен уложиться в следующую теорему: *комическая нелепость одинакова по своей природе с нелепостью грез*.

Прежде всего, работа ума, когда человек грезит, — это именно та работа, которую мы только что описали. Ум, страстно отдающийся своим грезам, ищет в окружающем его внешнем мире только предлог облечь плотью созданные им образы. Звуки еще смутно достигают слуха, краски сменяются в поле зрения; словом, внешние чувства еще не вполне замерли. Но грезящий субъект, вместо того чтобы перебрать все свои воспоминания и объяснить себе то, что воспринимают его чувства, напротив, использует само восприятие, чтобы воплотить свое излюбленное воспоминание: свист ветра в трубе покажется ему, смотря по его душевному состоянию, смотря по тому, какая мысль занимает его воображение, — или ревом дикого зверя, или мелодичным пением. Таков обычный механизм иллюзии в состоянии грез.

Но если комическая иллюзия есть иллюзия грез, если логика комического есть логика сновидения, то можно ждать, что в логике смешного мы встретим все особенности логики грез. Здесь мы найдем новое подтверждение закона, который уже хорошо нам известен: раз

дана одна форма смешного, то другие формы, не имеющие той же комической основы, становятся смешными благодаря своему внешнему сходству с первой. Совершенно ясно, что всякая *игра идей* будет нас забавлять, раз она напоминает нам более или менее игру грез.

Я укажу, прежде всего, на некоторое общее отступление от законов мышления. Наш смех вызывают те рассуждения, которые мы считаем ложными, но которые могли бы принять за правильные, если бы слышали их во сне. Они походят на правильные рассуждения как раз настолько, чтобы обмануть засыпающий ум. Это, если хотите, тоже логика, но логика, лишенная силы и освобождающая нас тем самым от умственной работы. Многие “стрелы остроумия” представляют рассуждения подобного рода, рассуждения очень краткие, в которых даются нам лишь точка отправления и заключение. Эта игра ума приближается, впрочем, к игре слов по мере того, как отношения, установленные между идеями, становятся более поверхностными: мало-помалу мы доходим до того, что воспринимаем не смысл слышимых нами слов, а только звуки. Я думаю, что следовало бы приблизить к сновидению некоторые очень комические сцены, в которых действующее лицо систематически бессмысленно повторяет фразы, которые другое лицо шепчет ему на ухо. Когда вы засыпаете среди разговаривающих между собой людей, вам начинает иногда казаться, что их слова мало-помалу утрачивают смысл, что звуки искажаются и беспорядочно сливаются, принимая в вашем уме странный смысл, и что вы разыгрываете по отношению к говорящему лицу сцену Пти Жана с суфлером.

Существует еще *комическая навязчивость*, которая очень близка, как мне кажется, к навязчивости сновидений. Кому не случилось видеть один и тот же образ в нескольких последовательных сновидениях, казавшийся в каждом из них правдоподобным, тогда как эти сны ничего общего между собою не имели. Повторяющиеся эффекты в пьесах и романах принимают также иногда эту специальную форму: в некоторых из них звучат отголоски снов. Может быть, то же самое можно сказать о припеве во многих песнях: он упорно возвращается, все тот же, в конце каждого куплета, каждый раз с различным значением.

Нередко можно наблюдать в сновидениях совершенно своеобразные *crescendo* — фантастичность, усиливающуюся по мере того, как разворачивается сновидение. Первая уступка, вырванная у разума, влечет за собой вторую, вторая — более важную третью, и так далее до полной нелепости. Но это поступательное движение к нелепости доставляет грезящему совершенно особое ощущение. Это, думается мне, то же ощущение, что испытал пьяница, чувствуя, что он приятно скользит к такому состоянию, когда для него уже ничто не будет обязательно — ни логика, ни требования приличия. Теперь посмотрите, не то ли же впечатление производят на нас некоторые комедии Мольера: например, г. де Пурсоньяк вначале действует почти разумно, а затем уже переходит ко всякого рода чудачествам; или, например, “Мещанин во дворянстве”, где по мере того, как действие развивается, действующих лиц увлекает какой-то вихрь сумасбродства. “Ну, если найдется другой такой олух, придется мне сам Рим оповестить об этом”. Эта фраза, возвещающая нам, что пьеса кончена, пробуждает нас ото сна, который становился все причудливее по мере того, как мы погружались в него вместе с г. Журденом.

Но существует вид безумия, свойственный только сну. Есть некоторые совершенно специальные противоречия, которые так естественны для воображения грезящего и так нестерпимы для разума человека бодрствующего, что было бы невозможно дать о них точное представление тому, кто не узнал их по собственному опыту. Я говорю о том странном слиянии двух личностей, которое часто происходит во сне, когда две личности, слившись в одну, остаются вместе с тем одна от другой отличимыми. Одна из этих личностей — обыкновенно это сам спящий. Он чувствует, что не перестал быть тем, кто он есть, и тем не менее он стал другим. Это он и не он. Он слышит, как он сам же говорит,

видит себя в действии; но он чувствует, что кто-то другой позаимствовал у него его голос. Или же иногда он будто сознает, что говорит и действует как обыкновенно; но говорит о себе как о постороннем, с которым не имеет ничего общего. Он отделился от самого себя. Не эту ли странную путаницу встречаем мы во многих комических сценах? Я не говорю об “Амфитрионе”, где такое смешение зрителю внушается, но где главный комический эффект создается тем, что мы назвали выше “интерференцией двух серий”. Я говорю о тех странных и комичных рассуждениях, в которых это смешение проявляется действительно в чистом виде, хотя и нужно все же усилие мысли, чтобы его выделить. Послушайте, например, разговор Марка Твена с репортером, явившимся его интервьюировать: “Есть ли у вас брат? — Да; мы звали его Билл. Бедный Билл! — Он, значит, умер? — Этого-то мы никогда не могли узнать. Глубокая тайна витает над этим делом. Мы были — покойный и я — близнецы, и когда нам было две недели от роду, нас купали в одной лохани. Один из нас утонул в ней, но никак нельзя было узнать, который. Одни думают, что Билл, другие — что я. — Странно. Но вы-то, что вы об этом думаете? — Слушайте, я открою вам тайну, которой я еще не открывал ни одной живой душе. Один из нас имел особую приметку — огромную родинку на левой ладони, и это был я. Так вот, тот ребенок, который утонул...” и т.д. и т.д. Вдумавшись в этот разговор, мы увидим, что его нелепость — нелепость необыкновенная. Ее вовсе не было бы, если бы один из говоривших не был как раз одним из близнецов. Вся нелепость здесь в том, что Марк Твен выдает себя за одного из этих близнецов, рассказывая так, как рассказывало бы о нем третье лицо. Совершенно то же происходит с нами, когда мы видим сны.

(Бергсон А. Смех. М., 1992. С.112-119)

АНТИТЕЗА СМЕХА

Противопоставление смеха и плача знакомо всем культурам. Оно очевидно, и потому “открыть” его не составляло труда. Поставив на место плача стыд, мы как будто идем вразрез с логикой культуры. Это верно, но верно лишь вполнину.

Говоря “смех”, язычество и христианство мыслили радость, причем радость, по преимуществу, телесно–бытийную. Для такой радости плач — знак боли и страдания — и в самом деле был противоположностью. Стоило ли искать чего–то еще, если слезы с такой легкостью соглашались на роль смыслового противовеса смеху?

Однако самоочевидность утомляет. И в конце концов потайная, до поры незаметная глазу связь между смехом и стыдом должна была выйти наружу, заполнив собой все то пространство, какого не могла занять “разрешенная”, но ограниченная в возможностях пара смеха и плача.

Уже первобытность хорошо знает о нитях, связывающих смех и стыд. В ритуале выбора женихов пылающая от стыда девушка указывает на своего избранника не рукой, а особым смехом или улыбкой. В истоках культуры эротика вообще неотделима от мотива воинской доблести, и этот тандем еще очень близок и понятен античности. Мужественность тут понимается однозначно, как телесно–производительная и агрессивная мощь, — как удаль, которой противостоит равная ей по своему смыслу эротичная женственность. Одно здесь стоит прямо напротив другого и поэтому любые перестановки смыслов легко рожают приступы военно–эротического смеха или женского стыда. Отсюда идет запрет на смех в обрядах инициации, причем смех здесь специально провоцировался переодетой в мужское платье женщиной; отсюда же — наполняющий сотни первобытных и античных мифов мотив мужской боязни осмеяния, боязни стыда и позора.

Здесь же находится и предбрачный смех женихов Пенелопы, и их стыд: не сумев натянуть одиссеев лук, они показали свою телесную, иначе, воинскую и чисто мужскую, слабость и потому испытывают “нестерпимый” стыд. Та же пара эротического смеха и стыда руководит и действиями олимпийских богов. Телесное и особенно запретно–любовное, вот главный источник их “сытого” смеха, за которым — естество, истина уже не имеющей возраста традиции: Гефест, заподозрив жену в измене, готовит ей и Арею “стыд” — западню, и это “тяжкообидное, достойное смеха” зрелище действительно вызывает “несказанный” смех богов–олимпийцев — тот самый смех, который получил название “гомерического”.

Дав жизнь стыду ума, стыд тела, само собой, никуда не исчезает, возрождаясь всякий раз заново в каждом юном существе и пробуя на нем свою силу. Именно такой стыд и соответствующий ему смех наполняют знаменитый — “дионисийный” — роман Ф.Сологуба, где юный красавец и его прелестница купаются в потоках любовного смеха и “сладкого стыда”; их связь соткана из эротики невинности и пунцовой краски смущения, нежной прелести и блаженно–пьяной улыбки. Юность знает и стыд ума, стыд поступка не связанного со стихией Эроса. Стыд, который Платон назвал “страхом перед ожидаемым бесчестьем”. Однако и этот стыд приобретает у молодых людей выраженную сексуальную

окраску, некий эротический смысл, невнятный уже людям, вышедшим из возраста, который не случайно именуется “нежным” и “трепетным”.

Становится понятной и причина того особого отношения к стыду, который был свойствен античности: культу смеха — Ликург, говорят, даже поставил ему памятник, — соответствовал культ его антипода стыда. Античность — это культура не только смеха, но и стыда^[172], причем стыда в основном мужского и, особенно, юношеского. Так Диоген Лаэртский передает слова Ликона о том, что мальчиков следует направлять к цели посредством честолюбия и стыда, а в наставлении Деметрия Фалерского к молодым людям говорится о стыде–воспитателе мыслей и чувств. Юношам должно иметь стыд везде: дома — перед родителями, на улице — перед встречными, а в уединении — перед самими собой.

Юность смешлива и стыдлива потому, что “не забыт” еще первоисток, в котором струи смеха и стыда смешаны друг с другом. Она боится смеха над собой, боится своего стыда и все–таки не может избежать ни того, ни другого. Хорошим примером идет сюда “Портрет Дориана Грея”, где очевидна утверждаемая Уайльдом, хотя, разумеется, не из “теоретических” соображений, связь смеха и стыда.

Стихия лорда Генри — интеллектуальный смех, знак “допортретного” Грея — стыд. Уже в момент знакомства, в самой первой их встрече Грей “розовеет от смущения”, а затем лорд Генри не раз заставляет его стыдиться и конфузиться: так и идет их диалог — один смущается, а другой смеется.

Как верно заметил лорд Генри, “Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же и кончается”. Вопрос только в том, что это за смех. Юный улыбчивый и стыдливый Грей, в конце концов заканчивает смехом ужасным: дьявольской ухмылки, появившейся на его портрете, он уже не смог вынести. Роман начинается с улыбки художника Бэзила, глядящего на свой шедевр и заканчивается “лицемерной усмешкой портрета и безумным смехом преступника Дориана: когда–то он потерял — вернее, передал портрету — свой стыд, — и потому смех его превратился из силы возрождающей и светлой в орудие самоубийства. Хоть он и смеялся последним, смех его, вопреки пословице, был нехорош.

В парах стыда и смеха, какими они являются в жизни и какими их видит литература, телесное и духовное часто смешаны столь основательно, что отделить их друг от друга можно только насильственно. Вариантов такого смешения множество: от интеллектуалистского, но не скрывающего своей эротической направленности взгляда набоковского героя на смешной и утомленно–стыдливый женский оркестр (“Весна в Фиальте”) до “военно–эротического” стыда генерала из “Скверного анекдота” Достоевского: “И чего им надо, чего они требуют?... Я вижу, они там пересмеиваются... Уж не надо мной ли, Господи Боже! (..) Он думал это, и какой–то стыд, какой–то глубокий, невыносимый стыд все более и более надрывал его сердце”. Здесь — одновременно присутствуют и упоминавшийся “страх перед ожидаемым бесчестьем” и чисто первобытная паника перед возможным посрамлением мужской удали: оттого неслучайны тут события–знаки — свадьба, опьянение, хвастовство, и, наконец, сон, обозначающий смерть генерала, оказавшегося фальшивым. Та же смысловая связь, та же невозможность оторвать одного от другого и в словах чеховского Андрея из “Трех сестер”: “...Сестер я боюсь почему–то, боюсь, что они засмеют меня, застыдят”.

Редкостно выразителен в “Заратустре” Ф.Ницше, не однажды ставящий рядом друг с другом смех и стыд, как главные черты человека: “Как стыжусь я своего восхождения и спотыкания! Как смеюсь я над своим усиленным дыханием!” Человек, восходящий от стыда к смеху, а не

наоборот — это “на совести” Ницше, для нас же дорог сам выбор пары — пары смеха и стыда...

Стыд ума наследует от своего предка–двойника и его мертвую хватку и стремительность, сменив, однако, при этом точку видения и заставив человека думать о небе, а не о земле. Поэтому можно говорить о родстве стыда тела и стыда ума, не забывая, разумеется, при этом, что расположены они на противоположных концах того пути, какой успело пройти человечество.

Стыд всегда шел неподалеку от пары смеха и плача, как бы оберегая ее от неожиданностей и всегда готовый прийти на помощь, чтобы выровнять положение: ведь связка смеха и плача, как мы это старались показать, условиям равенства не отвечает. Иногда же стыду приходилось вставать на пути смеха, чтобы не дать ему заполнить собой без остатка все смысловое пространство, например, как это грозило случиться в сологубовском “Мелком бесе”: оттого так много здесь буквально следующих по пятам за смехом упоминаний о стыде.

Связан смех со злом через понятие греха, христианство отказалось от него, заполнив образовавшуюся пустоту богоугодным плачем. Слез преизобильно не только в канонических, но и в других христианских текстах. Но не меньше в них и упоминаний стыда. Если смотреть на дело с предлагаемой нами точки зрения, становится видно, что хотя плач и идет на место, оставленное смехом, его все–таки оказывается недостаточно, чтобы заполнить гигантскую лауну, которая образовалась после того, как смех был изъят из душевного обращения: вот почему рядом с плачем встает и стыд. Само собой стыд здесь есть прежде всего спутник греха, но помимо этого стыд здесь есть прежде всего спутник греха, но помимо этого логика чувствования — сама по себе — требует либо восстановления нарушенного изгнанием смеха равновесия, либо подчинения всего пространства души единой власти. Такую неограниченную власть в христианстве получило страдание, и потому на первые роли вышли два его лика, два противовеса смеха: “официальный” и “потайной” — плач и стыд.

Нечто подобное можно видеть у Андрея Платонова, писателя в сути своей анонимно–религиозного. Он все время как бы “припоминает” опробованные христианством смыслы, вводя их в свой измышленный и таинственный мир. Оттого так редко слышен смех в “пустых пространствах” “Чевенгура” и “Котлована”, и оттого так много здесь плача — тоскливого и неизбывного. Платоновские люди–дети платят слезами — расплачиваются — за потерянный ими смех. Но и такой платы оказывается недостаточно: надобен еще и стыд, чтобы полностью занять место, которое должно было бы принадлежать смеху. И стыд — нелепый, непомерно разросшийся заполняет котлованы опустошенных душ “самодельных” людей и пришлых “прочих”.

Вместе с плачем стыд становится важнейшим опознавательным знаком этого вне–реального мира, мечтающего о небе и вместе с тем, все глубже и глубже зарывающегося в грунт. Платоновские “новая земля” и “новое небо” живут в смутном ожидании настоящего смеха — светлого и возрождающего, который один только и способен спасти этот устыдившийся своей нелепости подрастающий мир, еще не успевший узнать “ценности жизни”, но зато уже по–детски жадно впитавший в себя ее неутолимую “общую грусть”. В отсутствии возрождающего смеха — одна из причин безнадежности развязок “Котлована” и “Чевенгура”: котлован превращается в могилу, а Чевенгур — в царство смерти.

(Человек. 1993. N 2. С.24-28)

Приложение № 5

ЗАКОНЫ ЕВРЕЙСКОЙ ФИЗИКИ

1–й закон критической массы

Масса евреев производит массу критики

2–й закон критической массы

Чем больше евреев собирается в одном месте, тем больше они собираются в другое.

3–й закон критической массы

Масса денег в чужом кармане всегда является критической.

Закон неравномерного движения

Еврей может двигаться равномерно и прямолинейно только тогда, когда его уже несут.

Закон Максвелла

Тело при падении в воду производит большой международный резонанс.

Закон Гука

Всякое тело, находящееся в приподнятом состоянии, непременно гукнется вниз.

Закон Кулона

Или украдут, или потеряете.

2–й закон архимедика

Тело, погруженное в воду, мокнет.

3–й закон архимедика

Тело, не погруженное в воду, пахнет.

2–й закон еврейского тяготения

Все определяется положением.

Постоянная скорость этого света 300000 километров в секунду.

Абсолютный нуль

Количество мыслительных процессов члена Кнессета в любую единицу времени.

Постоянная тяготения

Доллар.

Число Авогадро

Количество евреев по фамилии Авагадро.

Постоянная Больцмана

Жена Резерфорда.

Закон вынужденных колебаний

Колебания становятся вынужденными, если оба варианта хреновые.

Закон жизни

Если в каком-либо месте появляются лишние деньги, к ним немедленно присовокупляются лишние люди. Обратное неверно.

(Российская карикатура. 1994. N 6. С. 31)

У.Лефски

12 СПОСОБОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКА

Замечали ли вы, что даже способные подчиненные теряют свою компетентность после того, как некоторое время проработают с вами? Качество их работы ухудшается, количество ошибок увеличивается, инициативность понижается. Вместо того чтобы самим решать простые вопросы, они обращаются к вам. Им отказывает чувство здравого смысла, и они используют ваши указания в совершенно неподходящих ситуациях. Их компетентность висит на вас мертвым грузом до тех пор, пока вы, наконец, не избавитесь от такого сотрудника.

Когда мы заменяем их другими работниками, те скатываются по той же дорожке. Тот же, кто сохраняет свои способности, вскоре находит лучшую работу или получает повышение вне вашего отдела.

В результате вы становитесь все более занятым, сгибаетесь под бременем работы, которую должны были бы делать подчиненные, исправляя ошибки, которые они не должны были бы совершать, и в который раз указывая им на обязанности, какие они должны были бы знать.

Что является причиной данной ситуации? Чем вызвана потеря компетентности подчиненных? Ответ на эти вопросы обычно заключается в том, как мы относимся к нашим сотрудникам.

О чем идет речь

Примером может служить руководитель отдела, проработавший в крупной корпорации 20 лет. Лишь несколько его подчиненных оставались с ним более года. Он подвергает тщательной проверке их творческое воображение и умственные способности, а после этого... не дает возможности применить свои способности!

Подчиненные служат ему лишь аудиторией, перед которой он демонстрирует свое величие, его отдел — это всегда отдел одного человека, независимо от того, сколько сотрудников в нем работает. Он силен своими достоинствами и слаб своими недостатками независимо от того, какими возможностями обладают его подчиненные.

Он сказал, что в отличие от своих коллег не хочет продвигаться по служебной лестнице. Если это действительно так, то его желание удовлетворено!

Испытанные способы

Если у вас есть также желание, то вот некоторые способы, используя которые, вы, несомненно, добьетесь успеха.

1. Давая указания подчиненному, используйте настолько обтекаемые термины, чтобы он даже приблизительно не мог определить, чего вы хотите...

Не упоминайте ни об одном конкретном случае, не приводите ни одного конкретного примера! Давайте указания как сами собой разумеющиеся и как если бы вы не сомневались, что они понятны любому человеку с минимальным интеллектом. Критикуйте его таким образом, чтобы он не понял, что нужно сделать для исправления допущенных ошибок.

2. Громко вздыхайте в знак покорности или изображайте крайнее удивление, если он попросит вас разъяснить что-то из того, что вы сказали.

Намекните, что никто, кроме него, никогда не просил пояснять такие простые указания. Не забывайте избегать примеров, которые хоть как-то могут осветить существующее положение. Подчиненный будет чувствовать себя слишком уверенно, если поймет все очень быстро...

3. Если подчиненный будет переспрашивать одно и то же дважды, скажите, что вы уже отвечали на этот вопрос.

Вы можете поступить так даже в том случае, если он задает вопрос впервые, и, особенно, когда его уверенность в своих силах уже пошатнулась. Попробуйте доказать, что его подводит память. Тогда он почувствует вину за зря отнятое у вас драгоценное время.

4. Демонстрируйте очевидные усилия сдержать свое раздражение, если он все еще не понимает, что вы имеете в виду.

На этот раз инструктируйте его так медленно и подробно, используя самые простые слова, чтобы подчиненный понял, что вы не считаете его слишком сообразительным. Продолжайте давать ему подобные объяснения и по другим поводам, даже если он уверяет вас, что все понимает.

5. Если вы можете найти в его работе повод для критики, не упустите эту возможность, даже если его ошибка незначительна и может легко быть исправлена. Кроме того, вы можете попытаться поймать его на ошибках, которых он еще не допустил!

6. Дайте ему несколько заданий с подробными инструкциями, но оставьте цель или ожидаемые результаты неясными. Он не сможет пожаловаться на то, что другим путем мог бы достичь результатов быстрее. Ведите себя так, чтобы предотвратить любое проявление инициативы со стороны подчиненного.

7. В процессе выполнения подчиненным вашего задания время от времени меняйте свои указания...

Иногда здесь может помочь отрицание данных ранее указаний, особенно если результаты оказываются не слишком многообещающими.

8. Если в процессе выполнения ваших указаний возникают непредвиденные вопросы, настаивайте на том, чтобы подчиненный снова обратился к вам. Не позволяйте ему самому принимать никаких решений даже в том случае, когда он говорит, что знает, как это сделать. Он возражает против вашего вмешательства? Скажите, что существует много тонкостей и особенностей, которые вы не можете ему объяснить из-за нехватки времени. В конце концов, он, конечно, поймет, что дело скорее в его недостаточной сообразительности, чем в незнании некоторых подробностей.

9. Заставляйте подчиненного выполнять работу, точно следуя вашим указаниям, даже если

это медленный и неудобный путь. В этом случае вы сможете пожаловаться на его низкую производительность.

10. Назначайте ему такие сроки, в которые он заведомо не сможет уложиться. Когда же он, как предполагалось, их нарушит, вы можете сказать, что он работает с недостаточной отдачей...

11. Поручайте ему выполнение тех работ, которые гораздо ниже его способностей и подготовки. После этого подчеркните, что даже неквалифицированные сотрудники могли бы с таким же успехом справиться с ними.

12. Усовершенствуйте все, что он делает.

Скажите ему, что вы поступаете так, чтобы сделать его работу приемлемой. После этого, если он переделывает одну и ту же работу 2–3 раза в тщетной попытке удовлетворить ваши требования, вы можете отметить низкую эффективность его труда. Если же он сдастся и выполнит работу небрежно, подчеркните его неряшливость.

Выполняя эти советы, вы можете достичь следующего:

— Ваш подчиненный засомневается в своих способностях.

— Он будет бояться принимать простейшие решения.

— Он будет обращаться к вам по поводу самых обычных вопросов.

— Ваш подчиненный долго будет сидеть над работой, которую давно надо было закончить.

— Вы докажете ему, что вы умнее его.

— В связи с тем, что качество и количество его работы будет снижаться, вы не будете повышать его.

— Вам не нужно будет бояться, что вас повысят до такой должности, занимая которую вы не сможете справляться со своими обязанностями.

— Либо вы уволите своего подчиненного в связи с его некомпетентностью, либо он уйдет сам.

Но вы ведь не пожалеете о нем, не так ли?..

(Кроссворды для руководства. М., 1992. С. 180-182)

Приложение № 7

А.Бирс

ИЗ “СЛОВАРЯ САТАНЫ”

А

Абсурд. Утверждение или мнение, явно противоречащее тому, что думаем на этот счет мы сами.

Амнистия. Великодушные государства по отношению к тем преступникам, наказать которых ему не по средствам.

Аплодисменты. Эхо прозвучавшей пошлости.

Б

Бездомный. Оплативший все счета за домашний скарб.

Беззащитный. Неспособный нападать.

В

Вежливость. Наиболее приемлемая форма лицемерия.

Вера. Безоговорочное принятие того, что люди незнающие рассказывают о вещах небывалых.

Виселица. Подмости, где разыгрывается мистерия, главный исполнитель которой возносится на небо. В нашей стране виселица замечательна главным образом числом лиц, счастливо избегающих ее.

Восхищение. Вежливая форма признания чьего-либо сходства с нами самими.

Выдумка. Ложь, у которой еще не прорезались зубы. Наибольшее приближение отъявленного лжеца к истине: перигей его эксцентрической орбиты.

Д

Деграция. Одна из стадий нравственной и социальной эволюции от частного лица к высокопоставленному политическому деятелю.

Детство. В человеческой жизни переходная ступень от идиотизма младенчества к безумию юности, за два шага до грехов зрелости и за три — до раскаяний старости.

Диктатор. Глава государства, предпочитающий чуму деспотизма моровой язве анархии.

Дипломатия. Политическое искусство лгать во имя своей родины.

Дневник. Повседневная запись тех поступков и мыслей, о которых записывающий может вспомнить не краснея.

Долголетие. Необычайно затянувшийся страх смерти.

Ж

Жалкий. Состояние нашего врага или оппонента после воображаемой схватки с нами.

З

Знакомство. Степень близости, которую называют поверхностной, когда объект ее неизвестен и беден, и тесной, когда тот богат и знатен.

И

Идиот. Представитель многочисленного и могущественного племени, влияние коего на дела человеческие всегда было главным и определяющим. Деятельность Идиота не ограничивается какой-нибудь частной областью мысли или действия, но, простираясь повсюду, управляет всем и вся. За ним последнее слово в каждом вопросе, его решение не подлежит обжалованию. Он диктует моду на мнения и вкусы, задает уровень разговора и заключает поведение в узилище запретов.

Избиратель. Человек, пользующийся священным правом голосовать за того, кому отдал предпочтение другой.

Извиняться. Закладывать фундамент для будущего проступка.

Иммигрант. Лицо, по невежеству своему полагающее, что одна страна лучше другой.

Историк. Крупнокалиберный сплетник.

История. Описание, чаще всего лживое, действий, чаще всего маловажных, совершенных правителями, чаще всего плутами, и солдатами, чаще всего глупцами.

К

Капитал. Опора дурного правления.

Компромисс. Форма улаживания спора, удовлетворяющая каждого из противников мыслью: он получил то, что ему не причиталось, а потерял лишь то, что полагалось ему по праву.

Конгресс. Собрание людей, которые сходятся, чтобы отменять законы.

Консерватор. Государственный деятель, влюбленный в существующие непорядки, в отличие от либерала, стремящегося заменить их непорядками иного рода.

Коронация. Обряд возведения монарха на престол с участием внешних знаков его божественного права быть вознесенным на небеса посредством бомбы, начиненной динамитом.

Корпорация. Хитроумное изобретение для получения личной прибыли без личной ответственности.

Красноречие. Искусство убеждать глупцов, что белое есть белое. Включает также способность выдать любой цвет за белый.

Л

Логика. Искусство думать и рассуждать в прямом соответствии с ограниченностью и беспомощностью человеческого недомыслия. В основе логики лежит силлогизм, состоящий из большей и малой посылок и заключения — например:

Большая посылка: шестьдесят человек могут выполнить некий объем работы в шестьдесят раз быстрее, чем один человек.

Малая посылка: один человек может выкопать яму для столба за шестьдесят секунд.

Заключение: шестьдесят человек могут выкопать яму для столба за одну секунду.

Сие может быть названо силлогизмом арифметическим, в котором, сочетая логику и математику, мы достигаем удвоенной достоверности и оттого счастливы вдвойне.

Людоед. Чревоугодник старой закалки, хранящий верность простым вкусам и придерживающийся натуральной диеты доветчинного периода.

М

Майонез. Один из соусов, заменяющих французам государственную религию.

Медаль. Маленький металлический диск, даруемый в воздаяние за доблести, достижения и заслуги, более или менее достоверные.

Мир. В международных отношениях — период надувательств между двумя периодами военных столкновений.

Мифология. Совокупность первоначальных верований народа о его происхождении, древнейшей истории, героях, богах и пр. в отличие от достоверных сведений, выдуманных впоследствии.

Мода. Деспот, которого умные люди высмеивают и которому подчиняются.

Мятеж. Неудавшаяся революция. Безуспешная попытка недовольных дурным правителем заменить его хаосом анархии.

Н

Ненависть. Чувство, естественно возникающее по отношению к тому, кто вас в чем-то превосходит.

Несправедливость. Бремя — из тех, что мы взваливаем на других и носим сами,

наилегчайшее в руках и наиболее тяжкое на плечах.

Нигилист. Русский, отрицающий существование чего-либо, кроме Толстого. Во главе этого учения стоит Толстой.

Нищий. Тот, кто полагался на помощь друзей.

О

Обвинять. Утверждать вину или порочность другого человека, как правило, дабы оправдать то зло, которое мы ему причинили.

Оппозиция. В политике — партия, которая не дает правительству воспарить над здравым смыслом, подрезая ему крылья.

Король страны Гаргару, который побывал за границей, дабы обучиться науке управления, назначил сотню самых толстых своих подданных членами парламента для установления законов о взыскании податей. Сорок из них он определил в Партию Оппозиции и велел своему Первому Министру тщательно разъяснить им их обязанность противиться всякому уложению, исходящему от Короля. Однако первое же, представленное на рассмотрение парламента, было одобрено единогласно. Крайне раздосадованный, Король наложил на него вето, известив Оппозицию о том, что, ежели такое повторится, они заплатят головами за свое упрямство. Все сорок немедленно сделали харакири.

— Что же нам делать? — спросил Король. — Без оппозиционной партии невозможно поддерживать либеральные порядки.

— Светлейший во Вселенной, — ответил Первый Министр, — воистину эти невежественные псы лишились своих мандатов, но не все потеряно. Предоставь дело твоему ничтожному червю.

Затем Министр набальзамировал тела членов Оппозиции, набил их соломой, вернул на места в парламенте и приколотил гвоздями. Отныне против каждого законопроекта регистрировалось сорок голосов. Но в один прекрасный день законопроект, облагавший налогом бородавки, провалился — ведь члены Правительственной Партии не были пригвождены к своим местам! Это привело Короля в такую ярость, что Первого Министра казнили, парламент был распушен артиллерийской батареей, а власть народа, для народа и осуществляемая народом Гаргару, канула в небытие.

Опыт. Мудрость, которая позволяет в уже затеянном сумасбродстве распознать старого, постылого знакомца.

Оригинальность. Способ утвердить свою личность, столь дешевый, что дураки пользуются им для выставления напоказ собственной несостоятельности.

Остроумие. Соль, которая сильно портит интеллектуальную стряпню американских юмористов своим отсутствием.

П

Патриот. Человек, которому интересы части представляется выше интересов целого.

Игрушка в руках государственных мужей и орудие в руках завоевателей.

Патриотизм. Легковоспламеняющийся мусор, готовый вспыхнуть от факела честолюбца, ищущего прославить свое имя.

В знаменитом словаре д-ра Джонсона патриотизм определяется как последнее прибежище негодяя. Со всем должным уважением к высокопросвещенному, но уступающему нам лексикографу мы берем на себя смелость назвать это прибежище первым.

Перемирие. Дружба.

Плебисцит. Всенародное голосование, призванное удостоверить волю правителя.

Президент. Главная фигура в небольшой группе людей, про которых — и только про которых — известно со всей достоверностью, что подавляющее число соотечественников не желало видеть никого из них на посту Президента.

Презрение. Чувство благоразумного человека по отношению к врагу, слишком опасному для того, чтобы противиться ему открыто.

Прерогатива. Суверенное право на неправые дела.

Приверженец. Последователь, который еще не получил всего, чего он от вас ждет.

Привычка. Кандалы свободного человека.

Придира. Человек, критикующий нашу работу.

Приниженность. Достойное и обычное состояние духа пред лицом богатства или власти. Особо свойственно подчиненному, когда он обращается к начальнику.

Пушка. Механизм, употребляемый для уточнения государственных границ.

Р

Радикализм. Консерватизм завтрашнего дня, приложенный к сегодняшним нуждам.

Речь. Музыка, которой мы заклинаем змей, стерегущих сокровища ближнего.

Решать. Уступать превосходству одной совокупности обстоятельств над другой.

Ром. Общее название горячительных напитков, доводящих до безумия людей, которые бросили их употреблять.

С

Свобода. Одно из наиболее драгоценных завоеваний воображения.

Совет. Самая мелкая монета из тех, что имеются в обращении.

Советоваться. Искать одобрения уже принятой линии поведения.

Спешка. Проворство неуклюжих работников.

Спор. Способ утвердить противников в их заблуждениях.

Столица. Цитадель провинциализма.

Судьба. Для тирана — оправдание злодейства, для глупца — оправдание неудачи.

Т

Телефон. Дьявольская выдумка, которая уничтожила какую бы то ни было возможность держать в отдалении нежелательное вам лицо.

У

Упрек. Один из многих способов, которыми дураки предпочитают терять друзей.

Усердие. Вид нервного расстройства, поражающий молодых и неопытных. Порыв, который предшествует небрежности.

Услуга. Краткое предисловие к десяти томам вымогательства.

Успех. Единственный непростительный крах по отношению к своему ближнему.

Ф

Филантроп. Богатый (и, как правило, лысый) старый джентльмен, который приучил себя улыбаться в те минуты, когда его совесть запускает руку в его карман.

Финансовая деятельность. Искусство, или наука, управлять доходами и ресурсами для вящей выгоды управляющего.

Х

Храбрость. Одно из самых заметных качеств человека, которому ничто не угрожает.

Ц

Циник. Мерзавец, чье ущербное зрение видит вещи такими, каковы они есть, а не такими, какими им следует быть. Оттого и водится у скифов обычай вырывать цинику глаза, дабы изменить к лучшему его взгляд на мир.

Ч

Человек. Животное, которое слишком погрязло в восторженном созерцании того, чем оно себя представляет, чтобы придавать значение тому, чем со всей очевидностью ему бы следовало быть. Основное его занятие — истребление других животных, в том числе и собратьев по биологическому виду, каковые, однако, плодятся столь упорно и неудержимо,

что ими кишмя кишат весь обитаемый мир и Канада.

Человечество. Весь род людской, совокупно, за исключением человекообразных поэтов.

Щ

Щелкопер. Профессиональный писатель, чьи взгляды противоречат нашим.

Э

Эгоист. Человек дурного тона, больше интересующийся собой, чем мной.

Эгоцентричный. Не принимающий во внимание эгоцентризм других.

Эрудиция. Пыль, вытряхнутая из книги в пустой череп.

Я

Ясновидец. Лицо, обычно женского пола, обладающее способностью видеть то, что не ясно начальнику, а именно: что он — болван.

(Ловец человеков: Сб. мистической прозы. М., 1993. С. 269-288)

С.Норткот Паркинсон

НАЛОГИ В СТАРОЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ

“В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле”, чтобы легче было собирать налоги. По-видимому, повеление это исправно исполняют именно с той поры. Правда, Август не первый это выдумал. Налоги взимают с незапамятных времен, а начались они с того, что человек, обладающий мало-мальской властью, перегораживал устье реки или ущелье в горах и требовал плату с путников и торговцев. Этот способ всегда был самым легким, и зовется он сбором пожертвований, таможенной пошлиной или шантажом, как кому нравится. Торговцу нет смысла прокладывать путь силой; убыток можно восполнить за счет покупателя, и торговец знает, что конкуренты именно так и сделают. Сумма, которую слезно или грозно запрашивает хозяин положения, примерно равна тому, что потратит жертва, если двинется обходным путем, и непомерна лишь тогда, когда такого пути нет. Словом, заплатить налог не труднее, чем от него увернуться.

Потом возник налог земельный. Собирать его довольно легко. Он сродни откупным, которые платят гангстеру, чтобы он вас не грабил, а защищал (как известно, на этой идее и зиждется феодализм). Земледельцу очень важно, чтобы все знали размеры его участка и его имущества. Если этого не будет, он тут же потеряет землю, и ему не жалко потратиться на то, чтобы признали его границы и не пасли на его земле скот. Сумма, которую он заплатит, примерно равна тому, что он израсходует, перебравшись подальше от гангстера. Непомерна она лишь тогда, когда перебраться некуда. Разновидность земельного налога — оброк. Его собирать труднее. Последняя же трансформация этого установления — налог подоходный, который технически возможен лишь при городской цивилизации, когда мало кому удается жить обработкой земли, а люди послушны законам и обучены грамоте. Собирать его очень сложно, но до сих пор считалось, что расти он может беспредельно, так как жертвам, как правило, деться некуда. В одной из следующих глав мы постараемся все же определить его разумные пределы.

Изучая историю налогов, мы вскоре обнаруживаем, что они подразделяются на две большие категории: те, которые люди накладывают сами на себя, и те, которые они накладывают на других. Налог первого типа как-то стараются удержать в пределах минимума, зато для второго пределов нет, и он никак не связан с волей налогоплательщиков. Налоги обеих категорий, как мы видели, увеличиваются во время войны, но не уменьшаются в дни мира. Таким образом, налоги растут и тяжелеют, повинуюсь соответствующему закону, пока данное общество не рухнет под их тяжестью. Сейчас мы увидим, что это случалось нередко и может случиться снова, причем много скорее, чем обычно думают.

Одна из первых хорошо известных нам налоговых систем — халдейская. Халдеи взимали обычно 10% продукта, а часто и больше. Дарий же, царь персидский, ухитрился выжать 28 млн. фунтов (около 133 млн. долларов) на наши деньги (по курсу 1904 г.), а дополнительный налог добирал натурой, конкретно — евнухами. К сожалению, мы не знаем, сколько это составляло процентов национального продукта и личного дохода граждан, но все же ясно, что больше десяти.

Вряд ли возможно не упомянуть в ученом труде о налогах в Ниневии* тем более что обнаруженные там документы дают о них любопытные сведения. Какой-то замученный

службой чиновник написал несколько писем Тиглатпаласу III (745–727 до н.э.), жалуясь на то, как трудно собирать налоги в Тире и в Сидоне. Платили их вином и кедром ливанскими, но однажды вместо этого жители Тира убили сборщика, а его сидонский собрат спасся лишь благодаря заступничеству стражей порядка.

Принято в ученых трудах ссылаться (рано или поздно) и на Афины. Сошлемся на них и мы, хотя нелегко сохранить надолго уважение к ним, свойственное гуманитариям. Афины, которыми восхищаются в старших классах, конечно, чистейшая выдумка филологов, почти напрочь лишенных чувства истории (или чувства реальности). Однако ссылка на этот город придает книге весомость и ненавязчиво сообщает, что автор (как оно и есть) получил классическое образование. Итак, Афины дают нам ранний пример т.н. демократии*. Это не значит, что афинский государственный доход слагался только из налогов, которые были согласны платить афинские граждане. Совсем напротив; он в основном состоял из сумм, которые удавалось вымогать в других частях Греции. Археологические данные не оставляют сомнений на этот счет. Из надписей времен войны с Архидамом мы знаем, что налоги взимались на празднествах в честь Диониса, собирали их аподекты, а потом передавали выше — эллинотамиям. Одна из надписей очень ясно описывает эту процедуру.

Продвигаясь вперед, мы должны осветить налоговую политику Птолемея Филадельфа, правившего Египтом примерно с 284 по 246 г. до н.э. Сведения мы черпаем из так называемого Налогового папируса, обнаруженного в 1893 г. профессором Флиндерсом Петри.

Прежде всего мы узнаем, что налоги с виноградников, садов и оливкового масла не превышали 1/6 (то есть около 17%) продукта. Кроме того, мы узнаем, что главный откупщик, заключивший двухлетний контракт на сбор налогов на масло, начиная с месяца горпияэя (или месори — по египетскому календарю, который, возможно, лучше знаком читателю), получал деньги лишь в присутствии эконома и антиграфевса и подавал об этом отчет в трех экземплярах. Отсюда явствует, что в древнем мире методы взимания налогов стояли на высоком уровне. К таким же выводам приводит нас изучение Сирии эпохи Селевкидов. Налоги были там вполне сносные — не больше 7% общего продукта.

Прежде чем обратить взор к другим, более поздним обществам, мы должны упомянуть хотя бы вскользь о налогах в Римской, Индийской и Китайской империях. О римских налогах мы знаем сравнительно мало. Известно, что при Августе граждане платили 5% с наследственных земель. Платили они и муниципальные налоги, о которых нет точных сведений, и таможенные пошлины на границах провинций, по-видимому, небольшие. Завоеванным ими народам приходилось похуже, но мы не знаем насколько. Ко времени падения империи налоги в провинциях настолько возросли, что собирать их стало, в сущности, невозможно. Историки согласны в том, что это и погубило империю. О временах последних императоров известно доподлинно только то, что налоги взимались нерегулярно, но часто и в огромных размерах — всякий раз, как в государстве бывал прорыв. Землевладельцам и тем, кто землю обрабатывал, не было смысла заботиться об урожае, и они, забросив хозяйство, старались укрыться кто где мог, а земли приходили в запустение.

Изучая историю Индии, мы видим, как разнятся индуистские и мусульманские представления о государственной казне. Согласно законам Ману, налоги в пользу царя с разных отраслей хозяйства не должны превышать соответственно 1/6, 1/8, 1/12, и 1/15 части продукта. При мусульманских же правителях из династии Моголов считалось, что вся земля — царская, а подданным принадлежит только их жизнь, да и то пока царь не распорядился иначе. Когда землевладелец умирал, земля его переходила к царю, так что никакого землевладения, в сущности, не было. Как видим, налог на наследство составлял 100%. С

подданных по мусульманскому закону полагалось взимать одну пятую продукта, на практике это оборачивалось одной третью, а из индусов Моголы выжимали и половину. Налоговая политика менялась, но кончилось все это катастрофой. Огромные земли пришли в запустение, торговля и ремесла захирели. Именно крах могольских методов правления проложил путь англичанам после 1707 года.

В Китае все обошлось. О налоговой системе, принятой там при династии Цин (1644–1911), написал специальную книгу Чжоу Куан-чу. Налог на землю был установлен, по-видимому, в 770 г. н.э., государственный доход складывался в дальнейшем, кроме этого налога, из налога на скот, таможенных пошлин и особой подати, которая шла на содержание почтовой службы. Иногда налоги эти составляли 20% национального дохода. Однако это противоречило идеям Конфуция, который некоторое время сам был сборщиком налогов и обнаружил, к своему огорчению, что правители Лу, у которых он служил, удвоили налоги, т.е. увеличили их от 1/10 до 1/5 продукта. Как пишет биограф, Конфуций считал, что “одной десятой с лихвой достанет на все государственные нужды... Один из первых властителей Золотого Века нашей страны повелел собирать одну десятую, и все сочли это весьма справедливым, а всякую иную долю несправедливой”.

В несправедность эту иногда впадали, но, хотя бы в теории, бремя налогов не было в Китае особенно тяжким.

Переходя к современным странам, мы обнаруживаем, что великой империей первыми вознамерились стать Испания, Нидерланды и Франция. Каждая из этих империй пала, и рост налогов сыграл в ее падении значительную роль. Пример Испании учит нас немногому: хотя Филипп II и положил начало современной бюрократической системе, налоговая политика при нем ничем особенным не отличалась. Два главных косвенных налога именовались “алькабала” и “милонес”, причем первый — это 10% с торговой сделки, а второй — налог на уксус, вино и оливковое масло. Кроме того, облагались налогом соль, табак и карточные игры. Несмотря на эти попытки увеличить доход казны, Испания обанкротилась примерно к 1693 году, но не одни налоги были тому виной. Религиозная нетерпимость и национализация разных отраслей промышленности повредили стране не меньше, чем рост налогов. Выразительнее всего об испанских налогах говорится в книгах, повествующих о том, как их взимали в Нидерландах при герцоге Альбе. В то время брали 1/100 со всего имущества, 1/20 с продажи земли и 1/10 с любого товара.

“Было очевидно, — пишет Сотли, — что налог в одну десятую нанесет торговле смертельный удар. Приверженцы короля первыми попытались отвратить правителя от меры, столь же безрассудной, сколь и бессмысленной”.

Об этом налоге больше говорить не стоит. На самом деле торговлю Нидерландов подорвало и многое другое.

Следующей после Испании агрессивной империей была Голландская республика. За короткий период своего возвышения она претерпела немалые финансовые трудности. Как нам известно, там существовали налоги на зерно, муку, хлеб и рыбу, и к 1672 году налоги эти стали непомерно тяжелы. В 1678 году они вызвали бунты, и Ренье, повествуя о войне за испанское наследство, пишет, что “Голландская республика была вконец истощена”. Однако налоги не уменьшились и после войны, голландский капитал во французских и английских банках все увеличивался. В 1751 году крупные купцы вручили штатгальтеру Вильгельму IV доклад о состоянии торговли, которая приходит в упадок по вине налогов. Они советовали попытаться “снизить налоги и воспрепятствовать хищению, мотовству, небрежению, беспечности, неумеренной роскоши в частных домах и прочим дурным вещам”. Попытка

такая сделана была. Борьба с мотовством, небрежением и излишними тратами не помешала бы и в других странах, в другие, позднейшие времена.

Последний пример гибельных налогов мы видим во Франции. Каждому школьнику пришлось хоть раз вызубрить причины Французской революции. Многое из того, что застревает в его памяти, относительно верно, а фон составляют яркие, хотя и не совсем совпадающие с учебниками впечатления, почерпнутые из Диккенса и баронессы Орчи. В конце концов, он остается в убеждении, что налоги как-то со всем этим связаны, и не ошибается. Правда, ему нелегко разобраться, до чего же эти налоги доросли, но нелегко это и ученым. Чтобы хоть как-то представить, что же там происходило, надо уяснить себе разницу между налогами, которые взимались государством по всей стране, и податью, которую крестьяне платили помещикам за пользование землей. Если вас неприятно поразит этот пережиток феодализма, вспомните, что и у нас, в Англии, она отменена лишь Актом 1935 года, который лет десять не мог по-настоящему вступить в силу; арендную же плату за разработку недр платили у нас землевладельцу до тех пор, пока шахты не национализировали. Французские феодальные налоги (как и английские) не надо путать с церковной десятиной (на самом деле — от 1/12 до 1/20 урожая). Подать помещику соответствовала нашему земельному налогу, а церковная десятина — налогам муниципальным. Добрую часть остальных поборов составляли налоги в королевскую казну. Туда входили т.н. *taille*, подушная подать, т.н. *dixieme* и множество косвенных налогов, из которых самым значительным был налог на соль. *Taille* взимали с тех, кто не отбывал военной службы; дворяне, духовенство и чиновники от этой подати были освобождены. Подушную подать, введенную в 1695 году, и *dixieme*, введенную в 1710, платили поначалу все, но потом они стали просто добавкой к *taille*. До чего же доросла сама *taille*? По-видимому, размер ее менялся от года к году и от места к месту, но в среднем она составляла 33–36% личного дохода. Вообще же все налоги составляли, по всей вероятности, от 38 до 41%.

Пример дореволюционной Франции полезен нынешним финансовым властям в двух отношениях. Во-первых, он показывает, каков последний предел налога, т.е. когда именно дальше идти нельзя, если не хочешь восстания. Во-вторых, он показывает, что опасно путать капитал с доходами. Начнем с первого. В определенный момент, вероятно, когда налоги достигают 45%, расходы на их сбор уже превышают саму собранную сумму. В этот же момент возникает опасность мятежа. Все это показывает, что есть предел, выше которого налоги подняться не могут.

Читатель возразит, что беда была в ином: налоги во Франции взимали только с тех, кто победней. Отчасти это верно и тем самым иллюстрирует наш второй вывод. Чтобы выкрутиться, французское государство закладывало свои будущие доходы. Почти все те, кто не платил прямых налогов, просто выкупили себя, и заплатили немало. Именно так поступили города Бордо и Гренобль. Многие знатные семьи купили свои дворянские свидетельства и освободились от налогов при Людовике XV и даже раньше. Свободны от налогов были и многие должностные лица, но и они купили свои должности за немалую цену. Словом, нельзя сказать, что свобода от налогов была у французских правящих классов наследственной привилегией. Все, кроме самых древних родов, просто платили вперед.

Нынешней верхушке повезло меньше — и в Англии, и в Америке. Однако еще не доказано, что современные правительства оказались прозорливей. Налог на наследство приводит примерно к тем же результатам, что и продажа дворянских титулов. Наследник поместья после уплаты налога не получает, в сущности, ничего, а государство соответственно заложило свои будущие доходы. Внешних признаков знатности теперь нет (а они хоть радовали взор), но финансовая ошибка все та же: капитал путают с доходами. Когда мы

изучаем дореволюционную Францию, мы вправе, не обращая особого внимания на частности произвола, сосредоточиться на главном. Старый режим погиб не потому, что он был тираничен или жесток, и не потому, что он выдохся. Он просто обанкротился.

(Закон Паркинсона и другие памфлеты. М., 1976. С. 106-113)

Источники карикатур в тексте

Очерк 1. Иностранная литература. М., 1985. N 7; Antologia del humor. Madrid, 1956.

Очерк 2. Antologia del Humor. Madrid, 1956, 1958.

Очерк 3. Antologia del Humor. Madrid, 1959.

Очерк 4. *Борев Ю.* Краткий курс истории XX века в анекдотах, байках, легендах, частушках, мемуарах, преданиях и т.д. М., 1995.

Очерк 5. Antologia del Humor. Madrid, 1956.

Очерк 6. Красная колокольня. Пг., 1918; Безбожник у станка. М., 1930; Крокодил. 1991.

Очерк 7. Красный перец. М., 1925; За рубежом. 1992; Российская карикатура. М., 1993; КВН (общественно-ироническое издание). М., 1995; Крокодил. 1993.

Очерк 8. Российская карикатура. М., 1993; Подмосковные известия. 1995; Известия. 1995; Крокодил. 1992.

Очерк 9. *Ефимов Б.* Школьникам о карикатуре и карикатуристах. М., 1976; Комсомольская правда. 1995; Российская карикатура. 1993; Известия. 1996; Правда. 1995.

Очерк 10. Вечерняя Москва. 1994; Известия. 1994; Крокодил. 1993; Правда. 1994; Правда России. 1996; Столица. 1991.

Очерк 11. Крокодил. 1993–1995; Известия. 1994–1995; Огонек. 1995; Правда. 1994.

Очерк 12. Неделя. 1994; Российская карикатура. М., 1993; Humor in Uniform. М., 1970.

Очерк 13. Известия. 1994; Оса. Йошкар-Ола, 1994.

Научное издание

ДМИТРИЕВ Анатолий Васильевич

СОЦИОЛОГИЯ ЮМОРА: ОЧЕРКИ

*Утверждено к печати Ученым советом
Отделение философии, социологии, психологии и права*

В авторской редакции

Корректор *Т.М.Романова*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.93 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 01.04.96.
Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл.печ.л. 13,43. Уч.-изд.л. 9,52. Тираж 1000 экз. Заказ № 018.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор *Е.Н.Платковская*

Компьютерная верстка *Е.Н.Платковская*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН
119842, Москва, Волхонка, 14

-
- [1] Иностр. лит. 1990. № 3. С. 197–201.
- [2] Лицо и маска Михаила Зощенко. М., 1994. С. 254–278.
- [3] *Сарнов Б.М.* Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко. М., 1993. С. 548.
- [4] *Зощенко М.* Избранное: В 2 т. Т. I. Л., 1982. С. 182–184.
- [5] *Сарнов Б.* Ук. соч. С. 553.
- [6] Иностр. лит. 1990. № 3. С. 197, 208–209.
- [7] *Гашек Я.* Похождения бравого солдата Швейка. М., 1956. С. 238.
- [8] Иностр. лит. 1990. № 3. С. 197.
- [9] *Набоков В.* Лолита. М., 1989. С. 49.
- [10] *Фрейд З.* “Я” и “Оно”. Тбилиси. Кн. 2. 1991. С. 406.
- [11] *Дземидок Б.* О комическом (перевод с польского). М., 1974. С. 43.
- [12] *Uale Review.* 1936. Sept. 26. P. 71–81.
- [13] *Фрейд З.* Указ. соч. С. 308, 309.
- [14] *Фрейд З.* Указ. соч. С. 273–274.
- [15] *Фрейд З.* Указ. соч. С. 311–312.
- [16] Это просто смешно! или Зеркало кривого королевства. Анекдоты: системный анализ, синтез, классификация / Сост. Л.А.Барский. М., 1994. С. 298.
- [17] *Бергсон А.* Смех. М., 1992. С. 126.
- [18] Там же. С. 14.
- [19] Там же. С. 13.
- [20] *Бергсон А.* Смех. С. 28, 29.
- [21] *Дземидок Б.* Указ. соч. С. 41.
- [22] См.: *The Act of Creation. Part 1.* N.Y., 1967. P. 47.

[23] Бергсон А. Указ. соч. С. 123.

[24] Смелсер Н. Социология. М., 1994. С. 136.

[25] Mead G.H. Mind, Seft and Society. Chicago, 1959. P. 206.

[26] См.: Zijderveld A. The Sociology of Humor and Laughter // Current Sociology. 1983. Vol. 31, № 3. P. 31–33.

[27] Это не совсем так. Современный исследователь А.А.Белкин выявил непоследовательность в борьбе государственной власти с кукольниками и скоморохами. Власть ощущала в них необходимость, поскольку без них были немислимы царские и боярские забавы и вообще русские праздники. Поэтому суровые меры принимались в ответ на “доносы” и “челобитные” об особых бесчинствах скоморохов, сами же власти не выступали инициаторами этой борьбы” (Белкин А.А. Русские скоморохи. М., 1975. С. 53–110). В нынешней России некоторые сатирики и юмористы (Э.Рязанов, А.Иванов, М.Задорнов) нашли довольно ласковый прием у видных государственных чиновников, что, впрочем, мало что прибавило к популярности тех и других.

[28] См.: Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта (социокультурный словарь). М., 1991. С. 341–344.

[29] Основная часть книги Л.Карасева “Философия смеха” опубликована в журнале “Человек” в виде статей, выходявших с 1990 по 1994 гг. Главы “Парадокс о смехе” и “Мифология смеха” были опубликованы в журнале “Вопросы философии” (1989. № 5 и 1991. № 7). См. также: Karasje L. Antyteza smiechu // Akcent (Lublin). 1991. № 2, 3; Karassev L. L'antithese du rire. La honte // L'Humor Europeen (Lublin–Sevres). 1993. P. 1; Karassev L. La phénoménologia du rire // Humoresques (Paris). 1993. № 4; Karassev L. Le rire et le temps // Humoresques (Paris). 1995. № 6.

[30] У некоторых отечественных и зарубежных исследователей мы находим несколько отличный подход. “Наш человеческий смех, — пишет К.Лоренц, — вероятно, ... в своей первоначальной форме был церемонией **умиротворения** или **приветствия** (подчеркнуто мной — А.Д.) ... У наших ближайших родственников — у шимпанзе и гориллы — нет, к сожалению, приветственной мимики, которая по форме и функции соответствовала бы смеху. Зато есть у макаков, которые в качестве жеста умиротворения скалят зубы..., чмокая губами, крутят головой из стороны в сторону, сильно прижимая уши. Примечательно, что некоторые люди на Дальнем Востоке, приветствуя улыбкой, делают то же самое” (Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). М., 1994. С. 181). Такие же манеры встречаются и у многих наших соотечественников — одного из российских политиков, например, называли “чмокающим” премьером.

[31] Карасев Л.В. Парадокс о смехе // Вопр. философии. 1989. № 5. С. 51.

[32] Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 53.

[33] Карасев Л.В. Парадокс о смехе. С. 48.

[34] Карасев Л.В. Смех и зло // Человек. 1992. № 3. С. 27.

- [35] Там же.
- [36] *Карасев Л.В.* Смех и зло. С. 27.
- [37] *Карасев Л.В.* Парадокс о смехе. С. 63.
- [38] *Карасев Л.В.* Антитеза смеха // *Человек.* 1993. № 2. С.14.
- [39] Там же.
- [40] *Карасев Л.В.* Парадокс о смехе. С. 60.
- [41] *Карасев Л.В.* Парадокс о смехе. С. 60.
- [42] Там же. С. 61.
- [43] Там же.
- [44] *Карасев Л.В.* Парадокс о смехе. С. 63.
- [45] *Карасев Л.В.* Мифология смеха // *Вопр. философии.* 1991. № 7. С. 70.
- [46] *Карасев Л.В.* Смех и будущее // *Человек.* 1994. № 1. С. 54.
- [47] Там же. С. 54–55.
- [48] *Карасев Л.В.* Метафизика сна // Сон — семиотическое окно. XXVI–е Випперовские чтения. М., 1994. С. 135–143; *Карасев Л.В.* Опыт несмеяния // *Человек.* 1992. № 5. С. 39–47.
- [49] *Карасев Л.В.* Смех и будущее. С. 62.
- [50] Социол. исслед. 1988. № 3. С. 84–94.
- [51] Там же. С. 104.
- [52] У автора другое мнение: “Интеллигенция всегда обходилась письменной формой передачи своего опыта, и **никогда** не прибегала (подчеркнуто мной — *А.Д.*) к такой народной форме как устное творчество” (*Борев Ю.Б.* История государства советского в преданиях и анекдотах. М., 1995. С. 3).
- [53] См.: “Философы Митин, Юдин и Ральцевич предложили своему учителю, философу–марксисту Деборину, публично назвать Сталина крупнейшим теоретиком партии, классиком марксизма. “Но у Сталина нет серьезных философских работ”, — ответил Деборин. И предложил союз: Сталина — практика революции с Дебориным–теориком. Узнав об этом Сталин хмыкнул: “Тоже мне Энгельс нашелся!” *Борев Ю.Б.* История государства советского в преданиях и анекдотах. М., 1955. С. 72. Несколько строк нашлось и для других философов того времени (Асмус, Чесноков).

- [54] Князев А.Н. На правах рукописи (литературно-критические заметки о нашей социологии). М., 1989. С. 9, 20.
- [55] М.М.Бахтин как философ. М., 1992. С. 176, 179.
- [56] Р.Барт называет литературу “языком других”. Она одновременно оказывается и точкой пересечения различных видов социального “письма”. Подобно тому как в обыденной коммуникации индивид лишь “изображает” на языковой сцене свою субъективность, так и писатель обречен на то, чтобы “разыгрывать” на литературной сцене свое мировидение в декорациях, костюмах, сюжетах и ампула, предложенных ему социальным установлением, называемым “литературным письмом” (Барт Р. Избранные работы. Семиотика, поэтика. М., 1994. С. 27).
- [57] Общественные науки. 1990. № 6. С. 145.
- [58] См.: Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М., 1994. С. 114–115.
- [59] Еврейское счастье. Вильнюс, 1991. С. 3.
- [60] Приведенный анекдот не относится к госп.Благоволину — генеральному директору ОРТ.
- [61] Цит. по: Zijderveld A.C. Sociology of Humor and Laughter // Current Sociology. 1983. Vol. 31, № 3. P. 49.
- [62] Еврейское счастье. С. 3.
- [63] Zijderveld A. Op. cit. P. 50.
- [64] Zijderveld A. Op. cit. P. 51.
- [65] Ibid.
- [66] Grotjahn M. Beyond Laughter. N.Y., 1957. P. 22.
- [67] См.: British Journal of Sociology. 1982. № 3. P. 383–403.
- [68] Zijderveld A. Op. cit. P. 37–59.
- [69] Анекдоты. Фронтовой юмор. М., 1995. С. 15.
- [70] В тот период слово “жид” означало “еврей” и не носило оскорбительного смысла.
- [71] Независимая газета. 1994. 17 авг. С. 7.
- [72] Литературная газета. 1994. 30 марта (текст с сокращением).
- [73] Книжное обозрение. 1995. № 6 (текст с сокращением).

- [74] Социол. исслед. 1992. № 12. С. 111.
- [75] Материалы ВЦИОМ. М., 1992. Приложение. С. 17.
- [76] Социол. исслед. 1991. № 1. С. 130.
- [77] Фрейд З. “Я” и “Оно”. Кн. 2. Тбилиси, 1991. С. 401.
- [78] Более подробно см.: Берн Э. Трансактный анализ в группе. М.: Лабиринт, 1994.
- [79] Берн Э. Указ. соч. С. 84–85.
- [80] Нью-Йорк Таймс. 1993. 23 нояб. — 23 дек. С. 55.
- [81] См., например: “Кроссворды” для руководителей. М., 1992. С. 185.
- [82] Zijderveld A.C. The Sociology of Humor and Laughter // Current Sociology. 1983. Vol. 31. № 3. P. 51.
- [83] Рассматривая такую конкретную форму проявления юмора, как анекдот, А.С.Ахиезер считает, что последний — свидетельство определенного успеха общества в углублении социального опыта, в росте самосознания, критики и культуры, социальных отношений, воспроизводства. С анекдота начинается разрушение кажущихся незыблемыми ценностей (См.: Ахиезер А.С. Указ. соч. Т. III. С. 12).
- [84] Антология мирового анекдота. Киев, 1994. С. 315, 325.
- [85] См.: Познание и обучение. М., 1988. С. 155.
- [86] Антология мирового анекдота. С. 156, 176, 177.
- [87] Аргументы и факты. 1995. № 40. С. 1.
- [88] Советский политический анекдот. М., 1992. С. 52.
- [89] Знаменитые шутят. М., 1994. С. 336.
- [90] Вечерняя Москва. 1994. 2 дек.
- [91] Перепечатка из “Вашингтон Пост” // За рубежом. 1992. № 68. С. 10.
- [92] 1000 анекдотов. Вып. I. М., 1991. С. 83.
- [93] День. 1992. 10–16 мая. С. 1.
- [94] Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона. М., 1976. С. 18.
- [95] Макдональд Д.Р. (1866–1937), один из основателей и лидеров Лейбористской партии

Великобритании. Был премьер–министром в 1929 г. и в 1929–31 гг. Хотя он и установил дипломатические отношения с СССР, но постоянно оставался объектом критики и насмешек — карикатуры на него постоянно появлялись в советских журналах и газетах.

[96] *Луначарский А.В.* Статья о литературе. М., 1988. С. 388.

[97] Пути творчества и критики. Актуальные проблемы. М., 1990. С. 179–180.

[98] Российская карикатура. 1994. № 9. С. 22.

[99] Там же. С. 23.

[100] См.: Российская карикатура. 1994. № 9. С. 24.

[101] См.: *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. М., 1991. С. 120, 198, 199.

[102] Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”. Л., 1990. С. 24, 25.

[103] В.Подорога пишет: “...Трудно избежать снисходительной усмешки, а то и испытать самый настоящий приступ хохота, выслушивая эти “глупые” и “неграмотные”, если не безумные речи платоновских персонажей, а с другой стороны, разве не охватывает чувство безысходности перед тупой и бессмысленной жестокостью платоновского мира...” // Параллели (Россия — Восток — Запад). М., 1991. Вып. 2. С. 35.

[104] Вестн. Акад. наук. М., 1990. № 1. С. 125.

[105] Социол. исслед. 1992. № 7. С. 151.

[106] *Ядов В.А.* Социологическое исследование: методология, программа, методы. М., 1987. С. 218.

[107] *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта. М., 1991. Т. III. С. 334.

[108] Социол. журн. М., 1995. № 1. С. 197.

[109] Поиск. 1992. 11–17 июля.

[110] Наш современник. 1983. № 6. С. 61.

[111] *Гавра Д.П.* Общественное мнение как социологическая категория и социальный институт. СПб., 1995. С. 216.

[112] Разрешите Вас потешить. Воронеж, 1991. № 1. С. 22, 16.

[113] *Довлатов С.* Собрание прозы: В 3 т. Т. 3. СПб., 1993. С. 45.

[114] Новое время. 1988. № 54. С. 28–29.

- [115] См.: Социол. исслед. 1994. № 5; 1995. № 9–10.
- [116] Российская карикатура. М., 1993. С. 7.
- [117] Правда. 1993. 29 апр. С. 8.
- [118] Социол. исслед. 1992. № 11. С. 58.
- [119] Мимо тещино дома. М., 1995. С. 22-24, 225–264.
- [120] Иностр. лит. 1988. № 11. С. 200.
- [121] Антология мирового анекдота. (“Я Вам наработаю!”). Киев; М., 1994. С. 54.
- [122] The Economist. 1981. March Z. цит. по: “ИЛ”. 1988. № 11.
- [123] Разрешите Вас потешить. Воронеж. № 1. С. 17.
- [124] Иностр. лит. 1987. № 1. С. 208.
- [125] Плохая рифма.
- [126] Вольноопределяющийся батальонный историограф Марек (1892–1937) — судя по всему основоположник военной социологии.
- [127] *Гашек Я.* Похождения бравого солдата Швейка. М., 1982. С. 176–177.
- [128] *Gwin Harries–Jenkins, Charles C. Moscos.* Armed Forces and Society // Current Sociology. London, 1981. Vol. 29, № 3.
- [129] *Карасев Л.В.* Парадокс о смехе. С. 64.
- [130] *Карасев Л.В.* Парадокс о смехе. С. 64.
- [131] Солдатская хохма и анекдот. М., 1992. С. 16–28.
- [132] Сатира времен гражданской войны в США. М., 1966. С. 167.
- [133] Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. М., 1972. С. 211.
- [134] Там же. С. 212.
- [135] Советский анекдот. М., 1992. С. 32.
- [136] Американская социология. С. 212–213.
- [137] Ах, Одесса: Юмор, сатира. 1992. № 8. С. 1.

- [138] См.: Элементы теории политики / Пер. с пол. Ростов н/Дону, 1991. С. 345–348.
- [139] *Савела Э. Моня Цацкес - знаменосец.* СПб., 1992. С. 10–11.
- [140] “Честь — совокупность внешних морально-этических принципов личности”. (Словарь русского языка. М., Т. IV. С. 672).
- [141] *Полейко В., Чудодеев В.* Дурдом. М., 1991. С. 76.
- [142] См.: Социол. исслед. 1992. № 4. С. 17.
- [143] *Вебер А.* Чиновник // Социол. исслед. 1988. № 4. С. 123.
- [144] См.: *Чижев Ю.В.* Короли и пешки // Социол. исслед. 1988. № 5. С. 77–79.
- [145] Смех в строю. Сборник иностранного военного юмора. М., 1992. С. 8.
- [146] Там же. С. 213.
- [147] См.: *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта. Ч. III. М., 1991. С. 12.
- [148] В тексте использованы различные печатные источники: сборники криминальных анекдотов, как советского, так и зарубежного происхождения, журнал “Крокодил”, а также личная коллекция. Источник конкретного анекдота не указывается, так как первоначальный вариант установить практически невозможно.
- [149] Цит. по: *Михайлов А.Д.* Средневековый французский фарс. М., 1981. С. 52.
- [150] *Полевой П.Н.* История русской словесности. Т. 1. СПб., 1990.
- [151] См.: Русская демократическая сатира XVII в. 2–е изд. М., 1977.
- [152] *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 671.
- [153] *Зоценко М.* Избранное. М., 1982. Т. 2. С. 20.
- [154] Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”. Л., 1990. С. 239, 242.
- [155] *Бергсон А.* Смех. М., 1992. С. 49.
- [156] Там же. С. 62–63.
- [157] См.: *Дземок Б.* О комическом. М., 1974. С. 41.
- [158] Смех в строю. Сборник иностранного военного юмора. М., 1992. С. 48.
- [159] См.: *Никандров В.И.* Об оценке доказательств участниками уголовного процесса // Госво и право. 1992. № 5. С. 62.

- [160] См.: *Ахиезер А.С.* Указ. соч. С. 94.
- [161] Известия. 1993. 27 нояб. С. 10.
- [162] *Ликас А.Л.* Культура правосудия. М., 1990. С. 121.
- [163] Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С. 365.
- [164] Цит. по: *Кистяковский Б.* В защиту права // Ненасилие. Философия, этика, политика. М., 1993. С. 140.
- [165] *Савицкий В.М.* Государственное обвинение в суде. М., 1971. С. 89.
- [166] См.: *Гжегорчик А.* Духовная коммуникация в свете идеала ненасилия // Вопр. философии. 1992. № 3. С. 58–59.
- [167] *Дановский С.Л.* Конфликтные ситуации сотрудников ГАИ с водителями // Социол. исслед. 1991. № 5.
- [168] Там же. С. 95–98.
- [169] См.: *Шибутани Т.* Социальная психология. М., 1969. С. 73, 74.
- [170] Кестлер утверждает, что сознательные и бессознательные процессы, лежащие в основе художественного новаторства, научного открытия и комедийного вдохновения, — имеют общую модель, которую он называет “бисоциативное мышление”. См.: *Koestler A.* The Act of Creation. London: Hutchinson, 1984.
- [171] *Todorov T.* Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984.
- [172] См.: *Dodds E.R.* The Greeks and the Irrational. Berkeley, Los Angeles, 1951. P. 28–63.

* Ниневия, столица Ассирийской империи, — один из первых городов, где встала проблема уличного движения. По словам пророка Ионы, там было “более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой” (Иона, 4, II). Можно себе представить, что творилось на улицах. Чтобы их разгрузить, городскую стену (100 футов высотой) превратили в надземку с односторонним движением в три ряда. Как все это сделали, см. у Диодора (кн. 2, 3). — *Прим. автора.*

* Афины сделались образцовым примером демократического государства где-то в середине XIX века, когда такая форма правления входила в моду в Англии и Америке. Афинской демократии посвящена всего одна строка в “Классическом словаре” Ламприера, перепечатанном Баркером с седьмого американского издания. *Прим. автора.*